
РУССКИЙ

ГУЛЛИВЕР

перевод с польского
Сергея Морейно

ДО.СВИ ДАНИЯ. В.АДУ?

Войцех Пестка

МОСКВА
2019

В основе книги лежат издания
Wojciech Pestka. DO ZOBACZENIA W PIEKLE
Prószyński i S-ka, Варшава 2012 (издание 2-е, испр.)

Войцех Пестка. ДО СВИДАНИЯ В АДУ?
Русский Гулливер, Москва 2019. – 200 с. (12+)



Книга выпущена при поддержке
польского “Института Книги”
(Программа переводов ©POLAND)

Права на публикацию предоставлены автором



Автор благодарит Международный дом
писателя и переводчика в Вентспилсе

Руководитель проекта – Вадим Месяц
Перевод – Сергей Морейно
Рисунок на обложке – Нинель Кормилицына
Оформление – JDSM

© Войцех Пестка: *тексты, 2007–2012*

© Сергей Морейно: *перевод, 2019*

© Русский Гулливер: *издание, 2019*

ISBN 978-5-91627-215-4

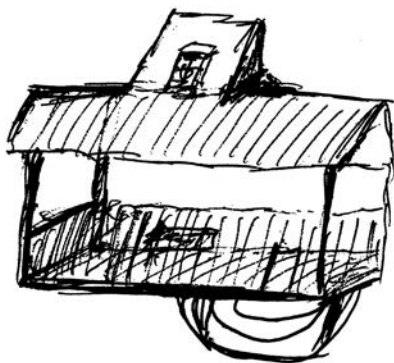
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА: *КРЕСОВЫЙ АПОКАЛИПСИС*

Если бы эта книжка была посвящена фактам, она давно бы устарела – как устаревают сами факты под напором интерпретаций. Но книжка – о людях. Не о том, чем занималась Украинская повстанческая армия во время Второй мировой войны, и даже не о том, что думает, но о том, что и в какой обстановке говорит бывшая связанная главнокомандующего УПА, ставшая невольной причиной его ликвидации. Не о судьбах партизанских отрядов в Белоруссии, но о том, можно ли и нужно ли вообще рассуждать сегодня об их судьбах. Не о том, что самый титулованный латышский поэт титулован, грубо говоря, из-за того, что отсидел семь лет в лагерях Мордовии, а о том, каково ему самому нести крест собственной славы.

Не о шахтах в Воркуте – о них пиши не пиши, – а о пятнадцатилетней польской пацанке из-под Луцка в сороковом году в Воркуте на шахте. Не о Бруно Шульце, о котором и без Пестки написано выше крыши, и не о том, каким он запомнился своим ученикам, землякам, корреспондентам... – о том, можно ли вообще запомнить те годы (направшивается каламбур, увы, бородатый: заропніе́с = забыть). И так далее. Вернее, не так. Не о людях в целом, иначе это

было бы попросту неподъемной задачей, но о деталях, оттенках, нюансах; фрагментарная историография в поэтико-журналистском формате.

Поскольку всё или почти всё в ней имеет отношение к когдатошней Польше (в том или ином формате), к так называемым “восточным кресам” [*kresy wschodnie* – “восточные окраины”, т. е., территории нынешних западной Украины, Белоруссии и Литвы, некогда входившие в состав межвоенной Польши 1918–1939] или, более широко, к “кресам” как таковым, то в оригинале книжка была подзаглавлена “Кресовым Апокалипсисом” – опять-таки, не в смысле конца света, но в свете медленного высвечивания тех или иных событий тлеющим пламенем исторического чистилища.



Книга песка

СТРАНСТВИЕ ПЕРВОЕ: *ТОПОС МАНИПУЛЯЦИИ*

...facevano un tumulto, il qual s'aggira
sempre in quell' aura senza tempo tinta,
come la rena quando turbo spira.

*Dante Alighieri. LA DIVINA COMMEDIA.
Inferno. Canto III, 28–30*

...родили хаоса спираль, что неустанно
летит сквозь мглу не озаренную часами,
будто песок в воронке урагана.

*Данте Алигьери. БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ.
Ад. Песнь III, 28–30
[пер. Петра Чугайстера]*

Альфред Шрейер, с которым мы разговариваем о Шульце, родился *после* переписи населения 1921 года. Родителей его в дрогобычских списках тоже нет — жили в Негловицах под Ясло (сегодняшняя Польша). Отец — инженер-химик швейцарской выучки, работал на «рафинерии». Обширный кризис первой трети XX века вынудил семейство вернуться осенью 1932 года в Дрогобыч.

АЛЬФРЕД ШРЕЙЕР родился 8 мая 1922 года в Дрогобыче. Польский музыкант и дирижер еврейского происхождения, пережил Плашов, Гросс-Розен, Бухенвальд. В сорок лет окончил дирижерский факультет Львовской консерватории, еще через пять лет — Дрогобычский пединститут им. Ивана Франко. 25 апреля 2015 года умер в Варшаве.

КОЛЛАЖ С БЛЕДНЫМ МЕСЯЦЕМ НАД ГОРОДОМ

Полгорода были поляками, полгорода — украинцами, а еще было полгорода евреев. Всего полтора города. По данным 1921 года в Дрогобыче проживало 26 736 человек. Разглядываю старые открытки. Рынок. Крестьянские телеги в «курчавом порядке», халаты хасидов «в пол», женщина в белом платье до щиколоток и белой же шляпе, котелки, дрожки, мешки, над которыми, будто в молитве, склонились два еврея.

Понедельник, время, запертое в порочном кругу череды дней. Понедельник, вписанный в медленный калейдоскоп сезонов. Мы знаем лишь, что понедельник, большой базар на Рыночной площади: Дрогобыч. Не слышно, как громяхают колеса, конское ржание не микшируется с криками торговцев. Обрывки вывесок — то, что поддается расшифровке при помощи лупы: ...*Товарищество, Теофил Яблонский, Склад, Fryzjer*. Вкрут ратуши деревянные будки ларьков с выставленным у дверей товаром. Мир, канувший в небытие, под непроницаемым покровом молчания. Книга песка.

Вечером, огибая лужи, иду деревянными торцами, пробираюсь от улицы Солёный Пруд [*Солёний Ставок*] к солеварне. Смотрю на кучки покосившихся халуп, поставленных абы как: забитые крест-накрест, наполовину скрытые окна, в которых роскошествует герань. Постельное бельё сереет на бечеве, натянутой посреди одичалых яблонь. Пусто. Те, что живут здесь, словно собрались за дверьми пропустить чуждое, из раза в раз возвращающееся время. Над ржавыми крышами острый бледный месяц — лубок с церковными куполами. Здесь, в Дрогобыче, 12 июля 1892 года родился «внебрачный», согласно записи в метрической книге, ребенок Бруно Шульц, младший в семье Иакова Шульца, хозяина мануфактурной лавки, и Гендель (Генриетты), урожденной Кухмеркер. «Метрика отмечает, что отец ребенка ‘признал отцовство’ и заключил ‘с матерью этого ребенка’ брак согласно требованиям гражданского кодекса 8 окт. 1892 г.», — малоизвестный факт от Ежи Фицовского. Родители Шульца состояли в браке согласно законам веры, но галицийское право потребовало от них заново скрепить свой союз. В этом контексте канцеляризм «прежние владельцы добра» [*właściciele realności*], используемый для умерших родителей новобрачной — философски и поэтически емкий, — звучит молитвой, обращенной к потусторонней реальности.

Никто из ныне живущих в Дрогобыче не может помнить Якуба-Иакова, отца Бруно Шульца. Умер 22 июня 1915 года, в том же

году сгорел и дом с магазином, *Рынок 10*. Остался лишь спи-
санный Ежи Фицовским клочок воспоминаний д-р Кауфмана:
«Магазином ведала фирма ‘Генрика Шульца’, находился он в на-
чале улицы Мицкевича [Самборской], возле ювелира Иосифа
Хамермана. Частенько видывал я Якуба Шульца сидящим у дверей
лавки — обычно летом — чаще всего воскресным утром, когда
официально лавка была закрыта, а он встречал клиентов, приехав-
ших из Борислава».

Галицийская Калифорния, так называли Борислав. Местечко
под Дрогобычем, пережившее подлинный шок по причине неглу-
бокого залегания нефтяной жилы. Фортуна безумствовала что-
денно. Городок разбухал, впитывая в себя *искателей сокровищ*.
Как грибы после дождя, выростали одна над другой примитивные
нефтяные вышки. Блеск и богатство соседствовали с безгранич-
ной нуждой. Всего за несколько лет от начала эксплуатации про-
мыслов забытый богом штетл вышел на третье место в мире по
нефтедобыче. Более тысячи скважин, десять тысяч работников.
Туристические фирмы в своих проспектах в качестве главного ат-
тракциона предлагали нефтяные пожары Борислава.

Альфред Шрейер, с которым мы разговариваем о Шульце,
родился *после* переписи населения 1921 года. Родителей его в
дрогобычских списках тоже нет — жили в Негловицах под Ясло
(сегодняшняя Польша). Отец — инженер-химик швейцарской
выучки, работал на «рафинерии». Обширный кризис первой

трети XX века вынудил семейство осенью 1932 года вернуться в Дрогобыч...

Вечер. На звоннице св. Варфоломея поблескивает жирной бронзой памятная доска. Всадник с саблей, вилы, косы, трудно-читаемая надпись: «Осенью 1648 года в Дрогобыче крестьянско-казацкие отряды и восставшие жители города и окрестных сел разгромили польско-шляхетские войска и освободили город».

Шаг — и Рынок. Сажусь на скамейку с бутылкой «Львовского». Запрет на распитие в общественных местах тут пока не действует. В голове моей образы «...степенных купцов, обслуживавших гостя не поднимая глаз, в скромном молчании, преисполненных мудрости и сочувствия сокровеннейшим желаниям клиента. <...> Где-нибудь еще стали группы евреев в цветных халатах, больших меховых шапках перед высокими водопадами светлых материй. То были мужи Великого Собрания, достойные и преисполненные благоговения господ, поглаживавшие длинные холеные бороды и ведущие сдержанные, дипломатичные беседы. Но и в их церемонной беседе, во взглядах, какими они обменивались, поблескивала улыбка иронии. Меж этих групп сновал простой люд, серая толпа, сброд без облика и своеобразия. Он как бы заполнял пробелы в пейзаже, выстилал фон бубенцами и трешотками...».

Улица сбегает вниз, прохожу среди опустелых торговых киосков. Узкие ходы под навесами, гниль, пустые коробки, упаковочная

пленка под ногами. Песьи взгляды враждебны, сторожки. На перекрестке собираются в путь последние ночные маршрутки. «Жидовский Лан», по-за чертой истинного Дрогобыча. На этой специально выделенной части королевской пашни (*lan* по-польски) с 1616 года селились (могли селиться) евреи, отсюда и название. Монументальная Большая («Хоральная») синагога, самая большая в Галиции, по образу и подобию кассельской. Гитлеровцы устроили в ней конюшню, Советы — мебельный магазин.

— Те евреи (шмули), что ютились *на лане*, в этих хилых, разваливающихся лачужках, жили за счет милостыни, но большая часть евреев были люди зажиточные. Адвокаты, банкиры, врачи, маклеры, высший процент интеллигенции, — говорит Альфред Шрейер. — Из евреев, что родились в Дрогобыче еще до войны, я последний. Эта еврейская община сейчас, которую кот наплакал, иначе не скажешь, эти сто шестьдесят, может, двести человек... а перед войной пятнадцать тысяч нас было. Жизнь цвела.

— Учиться начал в 1932 году в гимназии им. Генрика Сенкевича, с совместным обучением. Первый класс и второй, старого образца. Тем временем проводилась реформа школы. Четырехгодичные гимназии, двухгодичные лицеи. Во втором классе нашей наставницей была Юзефина Шелинская, невеста Бруно, пани чрезвычайно фешенебельная, — Шрейер смакует последнее слово, — на свой день рождения приглашала всех учеников, целый класс к себе. Разговоры, сладости, чай, смех... так было заведено.

«...Она, моя невеста, составляет часть моей жизни, благодаря ей я человек, а не только лемур и кобольд. Она меня любит больше, чем я ее, но мне она больше жизненно необходима. Она меня искупила своей любовью, уже почти погибшего и потерянного в нечеловечьих краях, бесплодных Гадесах фантазии. Она вернула мне жизнь и земное. Это самый близкий мне человек на Земле. <...> Это нулевой пункт, от него вверх уносит меня фантазия», — писал о ней Шульц 19 сентября 1939 года Романе Гальперн («Книга писем»).

Говорят, любовь слепа. Эту, дескать, игру предлагает человеку наш мир, чтобы запустить биологический механизм воспроизведения органического ресурса: гормональная манипуляция, возмущающая пространство воображения. Любая связь, стало быть, имеет кульминацию, после которой все начинает мутировать и ухудшаться, никакой разумный компромисс уже не возможен.

А неразумный — ненужен.

«Моя невеста — католичка <...>. Я же не хочу креститься. Сделал для нее ту лишь уступку, что вышел из еврейской общины» («Книга писем»).

Читаем у Хенрика Гринберга, что в 1936 году Бруно Шульц сделал в «Голосе Дрогобычско-Бориславском» [Głos Drohobycko-Borysławski] соответствующее заявление. «Не крестился, но евреем быть не хотел», — Гринберг («Дрогобыч, Дрогобыч»).

Не знаю. Может, так. А может, нет.

«...Наши прогулки по лугам за домом, в березовую рощу, всю целиком в весне, дарили мне предвкушение чуда, неповторимых ощущений, так редко случающихся в жизни. Это была квинтэссенция поэзии. Только если я чувствовала и чувствую контакт с природой биологически, то для Шульца юная березовая рощица, эта чистая трогательная беспомощность, служила темой для рефлексии и выстраивания образов с целью дойти до сути явления. <...> В каждом человеке он отыскивал какое-то сходство с животным.

— А на какого зверя похожу я? — спросила раз с любопытством.

— Пани на антилопу. — А пан? — На собаку. <...>

Я прекрасно отдавала себе отчет в том, что из нас двоих не он, а я — вопреки видимости — была слабейшей стороной. У него был им сотворенный мир, свои высокие регионы, я же не имела ничего. Не умела, однако, жить в этом раздразе, и на помощь мне пришла тяжкая болезнь — достойное бегство <...>. Я отдалилась от Бруно навсегда. Уже ничего не чувствовала, воодушевление, в котором я пребывала почти четыре года, исчезло», — вот несколько фраз из признания Юзефины Шелинской, вырванных из комментария Ежи Фицовского к «Книге писем».

«Мне ее так жаль, не знаю, что делает она после столь тяжелых переживаний, мои письма остаются без ответа. Жаль мне нас обоих, и всего прошлого нашего, обреченного на гибель» («Книга писем»).

— Проше пана, никто тогда в Дрогобыче его рассказов не знал. Считали его чокнутым, — Альфред Шрейер подтверждает слова жестом, — говорили, что пишет какие-то маловразумительные вещи и рисует голых женщин.

«Однажды, когда его мать вышла из дому в город, он уговорил служанку, молоденькую девчущку, раздеться, чтобы он ее рисовал. Мать вернулась и устроила ему страшный скандал. <...> Я, мол, все понимаю, но не в моем доме и не с моей служанкой!» (Феликс Милан).

— В 1934 году я поступил в городскую гимназии им. короля Владислава Ягайло, там меня рисованию и рукоделию в течение четырех лет учил Шульц.

— Ученики Шульца любили, — говорит Шрейер, — хотя был он до невозможности застенчив. И вовсе не за то, что он им покал. Учителя воспринимали его по-разному, рисование было не самым важным предметом, а он к тому же был странным, другим.

«В первом классе гимназии Шульц учил обделывать дерево. Ходил между столами, измерял, показывал, как вести рубанок, легко и с чувством. Руки были золотыми. Во втором классе обучал стекольному мастерству. Носил серые костюмы, весной и летом светло-серый, темно-серый — осенью и зимой. Старался прошмыгнуть по стеночке, согнувшись, бочком, с опущенной головой, всем уступая дорогу. Порой участвовал в воскресных литературных вечерах в частной еврейской гимназии им. Леона

Штернбаха. Импровизировал, повествовал. Никто не читал ни «Коричных лавок», ни «Санатория под клепсидрой», это было слишком трудно, но слушали внимательно. <...> В третьем классе началась работа по металлу, но Шульц взял отпуск...» — легко, гладко, литературно, Гринберг («Дрогобыч, Дрогобыч»).

Я не помню своих школьных учителей — размышляю, слоняясь между бетонных коробок современного квартала. Месяц все сильнее напоминает гаджет с елочки, обклеенную мятой фольгой игрушку из картона. В моей памяти лица и силуэты стерты, на хранении одна бессмысленная ерунда: осколки ситуаций, нелепые дурусти, которых сейчас мне положено стыдиться.

Чем меньше на улицах пешеходов, тем больше на них бездомных псов.

На этом месте — панельные блоки, ряды окон, за ними, без лиц и биографий, бдят люди в одурении между тем днем, что еще длится, и обещанием того, что, возможно, еще наступит. Еврейский квартал, Лан. Обитатели ушли. Отходы памяти — «большой киркут», еврейское кладбище, на котором пред лицом Бога люди исповедовались в собственном земном ничтожестве, — в шестидесятых сравнивали с землей, освобождая место «новому» человеку.

За домами, по ту сторону перекрестка, загаженная площадь, запертая шлагбаумом из заржавелой трубы — вокзал для междугородних маршруток. Днем пульсация жизни превращает

окаймляющие маневровый плац неказистые будки, деревянные клетки, жестяные короба в магазины, конторы, бары. Поднимается гомон, ударяет в блеклое небо.

Не понимаю. Итак, учителя не любили Шульца — может, бе-сила их подчеркнутая учтивость и скромность. По своей природе человек не любит поступков, его самого пробующих на зуб, манкирующих его покоем. Беспомощность будит агрессию. Шульц маневрировал в пустоте, не всегда успевая защититься. «К сожалению, депрессия моя не отступает, — коммуницировал постоянно по-разному одно и то же, — я сейчас лицо исключительно частное, по-человечьи страдающее, у которого выбита почва из-под ног и которое не видит смысла в жизни («Книга писем»).

Остались пометки в отчетах, сделанные школьной администрацией, типично чиновничьи констатации, из которых мало что вытекает: *подал заявление... раз в неделю... получил отпуск... слег в постель.*

— Музыка всегда шла за мной, была рядом, наверное, я имел к ней слабость, может, такая слабость и называется талантом, уж не знаю, — говорит о себе Альфред Шрейер. — В 1939 году мой старший коллега Зигфрид Биншток организовал ансамбль, с семнадцати лет я пел в нем, а Шульц в одном из своих писем упоминает эту фамилию, попрошу пана проверить.

Нашел. «Это письмо передаю с п. Зигфридом Бинштоком, талантливый молодой музыкантом, который недавно получил на

музыкальном конкурсе I премию за свои джазовые сочинения. Пан Биншток в первый раз в Варшаве, он ищет контактов. Был бы рад, когда бы немного в нем поучаствовала и ввела бы в мир варшавский. Пан Б. очень милый и симпатичный молодой человек, большой духовной свежести и некоторой наивности, что обещает весьма хорошее развитие...»

Шульц писал Роме Гальперн в 1938 году, тем летом в Дрогобыче футбольный кубок нефтяников взяли евреи из «Бейтара».

— Осенью 1941 года мы планировали перейти во львовский Театр миниатюр, сначала выступали в кинотеатрах, «Дніпро» и «Парк», был такой советский обычай музыки перед сеансами, просуществовавший аж до Хрущева. И вдруг судьбе снова шлея под хвост, в конце июня во Львов вернулись немцы, — снова Шрейер.

— Еврей мог подкупить себе жизни, само собой, в границах разумного, — читал об этом, по-видимому, вещь общеизвестная.

Золото открывало лучшие двери. Одним хватало на месяц, другим на два, некоторым на целых полгода. Ремеслом владели многие, ремесла котировались низко. Шульц рисовал, живопись имела свойства униката, оттого и ценилась иначе. Есть разные версии его гибели. Одни вполне правдоподобны, подтверждены присягой, показаниями свидетелей, эффектными спекуляциями. Другие так, голословье. Какая из них правдива — и насколько?

Пожалуй, не имеет значения.

По-видимому, достаточно даты — 19 ноября 1942 года.

По-видимому, он направлялся в Юденрат разжиться хлебом. На улице его заметил шарфюрер Карл Гюнтер, крикнул, по-видимому: «Отвернись!» — и, по-видимому, дважды выстрелил ему в голову.

Феликс Ландау: «Черт, он был мне еще нужен».

Карл Гюнтер: «Поэтому я его и пристрелил».

— *Я счастлива, что ты спасся, иду теперь спокойно на смерть с твоей фотографией*, — написала мама на полях. Это был ее документ, аусвайс с красной надписью «юде» наискосок. Сейчас будет большое переливание из пустого в порожнее, — как по писаному говорит Альфред Шрейер. — Мой отец, брат, сестра и бабка в сорок втором убиты в газовых камерах Белжеца, маме удалось сбежать с этапа, ее вместе с ее отцом в сорок третьем расстреляли в Бронницком лесу. Меня и еще пятерых хлопцев спас эсэсовец. Почему, кто заплатил? Я работал в рафинерии. На складе евреи сортировали вещи расстрелянных. Один из них отдал мне бумаги матери, там были эти ее слова, она знала, что я уцелел. 13 апреля 1944 года нас вывезли в Плашов, я хранил ее аусвайс, и полгода спустя, когда наступала Красная армия и объявили эвакуацию, хранил. Попал в Гросс-Розен [Рогозница], там нам быстро велели раздеться, я лишился его. Это был не конец, нас бросали из лагеря в лагерь, в Тюрингию, в Бухенвальд, в Тауху. Ад шел за нами.

— Тауха была филиалом лагеря, фабрикой по производству «бронированного кулака» для уничтожения танков. От зари до зари грузили вагоны ящиками, полными фаустпатронов. Жуткий голод, я весь опух, ноги огромные, как колоды. Американцы уже подходили к Галле, снабжение кончилось, из нас сформировали колонны и начались «марши смерти». Две тысячи заключенных с места на место под охраной старых перепуганных крестьян из фольксштурма. Злобных, парализованных страхом. Я не мог идти и оказался в последнем ряду. Конец. Спас меня немец, директор банка, осужденный за какие-то махинации. Сказал тому одурелому мужику в мундире, что на моих глазах забивал узников как животных — величайшего оперного певца кокнуть хочешь? Не выстрелил. Пение меня спасло. Дело в том, что вечерами я пробовал петь, чтобы забыться. Но и это не было концом. Еще был марш к Фрайбергу, в Росвайн. В семь утра седьмого мая в лагерь въехал первый советский танк. А на следующий день был мой день рождения, мой — Альфреда Шрейера.

— У меня был слух, я быстро научился немецкому, хотя в гимназии обязательным был французский. Работал на Советы. Сначала во Фрайберге переводчиком, а с января 1946 года — в Дрездене. Дрезден в принципе не существовал, американские самолеты там хорошо поработали, им хватило одной ночи. Вернулся сюда, а ведь мог остаться или выехать в Аргентину. Но мои родители

дома говорили по-польски, я ходил в польские школы, я — поляк. Большинству не понять меня. При Советах закончил дрогобычское училище, то, в котором позднее преподавал в течении сорока двух лет [Дрогобицкий музичний коледж ім. В. Барвінського]. Потом институт. Дирижировал, пел, много лет работал в оркестре Дрогобычского управления кино. Старался делать то, что умею.

Это мое спокойствие — оно не мое, оно машинальное.

У меня получилось, я был всегда собой, я выжил. *Ich war immer Alfred Schreyer* — мои слова, так я сказал газете *Die Welt* [запись 2007 года].

Возвращаюсь к месту постоя, ночь, нужно спать. Ночлег недалеко от стадиона «Юнака» [теперь *Галичина*], где дорожное шупальце ползет на Трускавец.

(Ночью мне снится бальная зала, иду вдоль столиков, конца не видно. Где-то играет оркестр, с затененного потолка свисают изодранные декорации, какие-то звезды, полумесяцы, знаки зодиака. Сквозняк возмущает шпагаты, пускает звезды в пляс. Слышу перестук столовых приборов, женский смех, шампанские выстрелы. Никого не нахожу, пространство вокруг меня полнится тенями. Такой вот бал. Реальны одни собаки, бегающие под столами. Ощеренные зубы, стекающая из пасти слюна, кровавые глаза. Слышу, как каменеет рычание в недрах их глоток, чувствую ужас, сейчас ка-а-ак...)

Просыпаюсь, мобильник выдирает меня в действительность, подъем. Иду... Когда-то тут была улица Чацкого. Здесь погиб он. Латунная пластинка недавно вмурована в тротуар. Где погребен, неизвестно. Одни (Альфред Шрейер) считают, что в общей могиле вместе с остальными жертвами «черного четверга». Вроде бы его тело лежало на подводе среди трупов, собранных следующим днем по улицам. Другие (Исидор Фридман) — что вроде бы той же ночью тайно похоронен на «новом» еврейском кладбище.

Правда эта — где он лежит, — она-таки не имеет значения.

— В девяностые годы появились первые переводы его книг на украинский язык. Он по-прежнему труден, мало кто читает Шульца, — говорит Шрейер. — Та афера с фресками, это другое дело, о ней все судачат.

Женщина, купившая хлеб в булочной по соседству, останавливается, видя, что я делаю снимок.

— Не могу понять, — говорит на украинском языке, — он даже католиком не был, разве что писал по-польски. Развели катавасию из-за одного жида.

Поднимаю голову, ясный день, но на небе — месяц. Как пить дать в такие дни тень Дрогобыча видна из космоса.

Через кухню вломились в столовую, органиста застрелили на месте из ружья, а пробоща вытянули на улицу. Я одевался в соседней комнате, услышал шум, запер дверь на засов и выскочил в окно. Мне вслед швырнули гранату, она упала мне под ноги, но не взорвалась.

Кс. ЛЮДВИК РУТИНА родился 10 февраля 1917 года в Подзамочке возле Бучача. Окончив среднюю школу, поступил в духовную семинарию во Львове, был рукоположен в 1941 году. Служа викарием в селе Баворове, не раз подвергался нападениям украинских националистов. В 1945 году, как и тысячи других поляков, был вынужден оставить родной край в рамках так называемой репатриации. После распада СССР в 1991 году вернулся на родину, в село Подзамочек. Скончался в Ополе 11 декабря 2010 года.

СВЯТЫНЬ НЕ ОСТАВИМ... РАСЧЕТЫ С СОВЕСТЬЮ

Такая жизнь, человек в белкой в колесе горит себе, горит и быстро гаснет. Не каждому везет дожить до таких лет, когда каждый обычный очередной день — словно еще один дар Божий. В долгой жизни немало времени уходит на то, чтобы подбить счета с памятью, с совестью подвести итог.

В четырнадцатом году отца забрали в армию. Приезжал в отпуск, навещал мать, но окончательно вернулся с войны лишь в девятнадцатом и тотчас решил, что из Бучача мы уедем и заживем своим домом. «Свое» означало хозяйство, которое москали спалили в самом начале Первой мировой: тогда-то мать, глядя на дотлевающее пепелище, решила до возвращения отца перебраться в ближайший городишко, к родне. С учетом, однако, работ сельскохозяйственных мы кочевали и по деревне. Сказать «заживем своим» — это одно, а вернуться и зажить — другое и потрудней. Все, что осталось — каменный погреб, такая яма под картофель, а

должен он нам был заменить целый дом. Была страшная нужда, не хватало практически всего, начиная с еды и одежды и заканчивая местами для спанья. Два с половиной года мне было, не больше. Помню — солдаты на конях, клубы пыли, радостные крики, шапки надеты на вздетые кверху ружья: так возвращалась *Польска*. Я вскарабкался на крышу нашего погреба, чтобы лучше видеть, и тут раздались первые выстрелы — большевики устроили засаду. Наши галопом убегали вразброд, каждый сам по себе: никто не погиб, только две лошади утонули в трясине. Меня в первый раз выпороли. За то, что ослушался отца, не спрятался внизу вместе со всеми. Очень трудное время, даже представить себе невозможно. Девятеро детей накорми, одень. Болел — сегодня сказали бы, что недостатком витаминов. Все молочные зубы выпали сразу.

На седьмом году взял меня во Львов дядька по отцу — на воспитание, хотел отцу помочь, да и своих не было детей. Он работал в полиции, был небольшой шишкой. Я ходил в начальную школу на улице Леона Сапеги. На другой стороне улицы строился костел св. Эльжбеты, всем классом бегали туда, носили на леса по кирпичику, каждый помогал чем мог. Четыре класса закончил и возвратился в Бучач, в наши палестины. Учился в гуманитарной гимназии, получил аттестат, поступил во львовскую семинарию.

Последний день августа тридцать девятого, война на расстоянии вытянутой руки. Этот день я провел с группой выпускников

своего года в походе к деревне Залешики. У семинарии было такое владение в Репинцах, палац с парком на нескольких гектарах между Бучачем и Язловцем, его подарила нашей семинарии графиня Волянская после трагической смерти сына. В обязанность нашу входило месячное пребывание в Репинцах во время каникул. Немало моих коллег считали это за наказание — то был медвежий угол, где дьявол желал миру сладких снов, настоящие *кресы*. Добраться сюда всегда означало трудную дорогу. В воздухе уже чувствовалось дыхание войны, украинцы ходили гоголем, глядели враждебно. Пару лет тому назад в Бучаче разоблачили коммунистическую организацию лицеистов, четверых, а то и шестерых моих товарищей выгнали из школы. На селе всюду трудились большевистские ячейки, их называли *чрезвычайками*, от «ЧК».

Когда война началась, семинаристов из Репинцев распустили по домам. Мне было ближе всего, я был почти дома. Помню, проводил товарища из деревни под Тернополем на станцию в Пышковцах, у него даже денег на обратный билет не было. Больше мы не встретились. Кто знает — не одолжи я ему на проезд, может, выжил бы. Родители его были поляками, колонистами, убили их люто. Ему отрезали голову косой.

Пришли Советы, принесли свои порядки. Они пытались перековать всех польских солдат, на выезд из города потребовали специальную бумагу. Я хотел вернуться во Львов, в семинарию,

наступал октябрь, занятия в новом семестре. Иду раз в сутане по улице Бучача, вдруг дорогу преграждает армейский газик, выскакивает майор.

— Людвик Рутина! — кричит. Думаю: конец. Начинаю молиться.

— Помнишь меня? — спрашивает, смеясь довольно. Большевик, исключенный из лица коммунист, школьный товарищ.

— Знаю, — говорит, — не всем это по нраву. Но так должно быть. Чем могу помочь?

В тот же день получил разрешение на переезд поездом во Львов. Его я тоже больше встречал, он уехал вместе с армией. А я таким вот путем уже четвертого октября оказался в семинарии. Городом правили Советы, отняли часть помещений. Самый старший из нас был посвящен в сан той же осенью, а следующая группа — весной сорокового. Мой час настал 11 мая 1941 года, после первой службы в Бучаче я отправился викарием в Баворов.

Мертвое тело, везомое санями на кладбище Баворова, исчезло из гроба — запись в старинных парафиальных книгах. Была такая зима, что покойники смерзались в камень, вываливались из своих домовин. Другое дело, что везли его из Тернополя, и относился он [в то время *Тарнополь* — *В.П.*] к приходу Баворов. И, значит, было село Баворов некогда местом сильным, с традициями. Здесь в 1589 года польские войска остановили татар. И был это городок

купеческих привилегий, жил себе торговлей, но время лишило его значения, превратило в деревню. Часть жителей были поляками.

Там начал я изучать украинский язык, тогда и названия-то этого не было, в школьном аттестате писали: язык «русский». В Подзамочке, где я рос, был лишь один украинец, специально выписанный к нам кузнец. Ходил молиться в церковь, Рождество у него было на две недели позже, нежели у нас. Когда колядники ходили по домам — известное дело, хлопцы, — зашли к нему, а он: «Мой Пан Бог еще не родился». «А наш уже головку держит», — не мудрствуя лукаво в ответ. При немцах был солтысом, даже когда банды нападать стали, удержался... Выехал со всеми в Польшу, был человеком порядочным.

«Душехват»... Баворовского пробоша [диал. «пароха» — *В.П.*], ксендза Кароля Процика украинцы прозвали похитителем душ. Помимо церковных обязанностей — а занимал он должность каноника, — парох нес нагрузку общественную, участвовал в разнообразнейших делах людей, населявших земли прихода. В силу этого пользовался симпатией и уважением, его зывали на семейные торжества, и не обязательно наши.

Особенно много делал для украинского населения. Оберегал, вызволял их из всяческих бед, защищал перед властями. Умел разысканиями в парафиальных книгах вывести польские корни, задокументировать шляхетскую родословную, доказать чье-то

происхождение от Конопницких, Ржевуских... На день ангела, приходившийся на четвертое ноября, к нему приходили делегации из окрестных деревень, приезжали на брчках чиновники, депутат Янковский — и тот являлся в гости. И это не говоря о нашей общине, а ведь на попечении нашем было пять каплиц и несколько кладбищ, разбросанных по обширной территории.

Пароха убили 2 ноября в 1943 году, за два дня до его именин, на день поминовения усопших. Я отслужил заутреню, потом поехал к соседнему костелу, на кладбище. То и же парох: правда, в другую сторону. Сошлись вновь только вечером, за ужином. Кто-то из деревни пришел с органистом — предложить шпагат для молотилки. А те уже ждали, когда кто-нибудь выйдет, были под дверьми. Через кухню вломились в столовую, органиста застрелили на месте из ружья, а пробоща вытянули на улицу. Я одевался в соседней комнате, услышал шум, запер дверь на засов и выскочил в окно. Мне вслед швырнули гранату, она упала мне под ноги, но не взорвалась. Убежал. Слышал крик настоятеля, его связали, бросили на телегу, увезли. После на дворе отыскал перочинный ножик, с которым он не расставался. Спустя годы в лесу находили человеческие кости, спрятанные под кучами навоза. Редко можно было идентифицировать убитого, порубленного, без головы, без рук, распиленного пилой пополам. Нигде не нашли тела моего первого пробоща, сгинул без следа, неведомо где упокоен.

«Истребительные батальоны», они же *истребки*, «ястребки», появились вместе с фронтом и большевиками, занимавшими города и деревни. Ястребки боролись с бандами. Власть умыли руки, «военкомат» разрешил польскому населению создать вооруженные отряды самообороны: на селе. В нашем батальоне служили парни из Баворова, Заставья, Скоморохов, Смолянки. Другие деревни, Грабовец, Белоскирка, Застенка — у них были свои дружины.

Всем этим гражданским движением управляли комиссары-большевики, что поднимало градус вражды еще выше. Они использовали наши дружины при облавах на бандеровцев. Давали по пять патронов на карабин и велели биться с вооруженными до зубов бандитами, а те не останавливались ни перед чем. По правде говоря, были мы никому здесь не нужными — ни та, ни другая сторона нас не хотела.

В марте 1945 года стычки с бандами возобновились, погибло несколько наших. Видимо, хотели нас запугать. Власть поставила ультиматум: назначен срок, мы должны выехать, после этой даты они больше не обеспечивают нашу безопасность. От гибели пароха и до самого отъезда я работал администратором парафии. Ездил по костелам, служил службы, крестил детей, венчал, хоронил умерших. На меня охотились, у меня были свои укрытия, да разве ж что-нибудь можно долго хранить в тайне? Ночевал в погребах, спал зимой на колокольне в тридцатиградусный мороз.

Даже под органными трубами обустроил себе временное лежбище для сна. Через неделю кто-то мне намекнул, что полдеревни слышит мой храп, так хорошо резонировало.

Расчеты с совестью. Нельзя ничего обобщать, говорить: вы — украинцы, вы евреи, поляки. Нет таких генеральных истин. Старые фобии, из страхов вышедшие, пропагандой подпитанные, требуют ответа. Отсюда ненависть. Разделять, натравливать, править. Страшная вещь.

Большевики овладели этим искусством в совершенстве. Однако были и хорошие коммунисты, а были и плохие поляки, что предавали, доносили. Были немцы, спасавшие жизни, и украинцы, которые убивали. Есть украинцы, до сих пор получающие из Польши письма с благодарностью за помощь. Был один немец из Ополя, он заведовал администрацией Бучача, поклон ему и уважение. А другие убивали для удовольствия. То, что немцы творили тут с евреями, это не для пересказа. А украинские банды? Была такая деревня, километрах в десяти от города, Пужники, не осталась от нее следа, даже фундамент костельный разобрали. Девятьсот душ. Деревья выжили фруктовые, одичали. А так — никто не спасся. Это одна сторона дела.

Но есть и другая. На этих землях всегда бывали и лучшие, и худшие. Были священники римско-католические и священники

православные. Границы религиозные накладывались на границы национальные — тоже влияло. Неправда, что в школы не брали украинцев, каждый мог учиться. Зато не каждый мог делать карьеру: в суде, в армии, в управлении. Высшие должности резервировались для поляков. Как и земля с парцелляцией, уходившая в руки переселенцев-осадников, офицерских семей. Когда настал час террора, поджогов хлебных кладей и скирд, на усмирение прислали отряд из Познани. Молодые солдаты не знали ни языка, ни склада ума живущих тут людей. Виновные убежали, невиновных взяли. Наказали порядочных и непричастных. Еще одна капля горечи в стакане терпения.

Власти позволяли строить библиотеку и украинский дом «Просвиты» в Бучаче — и не вмешивались, когда юнцы из стрелецкого союза крушили леса, рушили стены. Или нападали на возвращающихся с тренировок «Сечи» [Карпатська Січ] и «Сокола». Издевались, сдирали с них *сорочки* [«вышиванки»], ломали их деревянные ружья и срывали *красивки*. «Вы нам шитье, а мы вам крытье», — хороши слова, так и тянет выкрикнуть. Впоследствии кто-то расплачивался за них жизнью. Такой была та, другая сторона: разделяй и властвуй.

Мы убегали от банд целой группой, все наши, сначала в Тернополь, после на запад, в Польшу. Разделились, как только почувствовали себя в безопасности. То есть, на польской стороне. В июне в Забже

мы получили диспозицию, нас направили в Прудник-Нейштадт. Позже были Мешковицы, Рудзичка, Немисловицы — в сумме тринадцать лет. И нужно было перебираться в Кендзежин-Козле, где мой предшественник — таких называли «ксендз-патриот», — получил разрешение на постройку костела возле возле судоверфи. Его жаловала власть, но не любили горожане. Я принял приход в пятьдесят восьмом, а через год, осенью, последовало освящение нового костела. Вот так, то здесь, то там, прошли мои следующие тридцать с чем-то лет на службе божьей.

Когда в сорок пятом выезжали все вместе, мы были убеждены, что спасаем наши жизни. Брали то, что можно было взять: инвентарь, инструменты, утварь. Немногое.

Через сорок пять лет возвращался я один.

Чтобы три креста несли Потоцких Пилява / Дом Крестовый поставил я Богу во славу — надпись, помещенная на портале костела Вознесения Девы Марии в Бучаче его основателем, Николаем Базилием Потоцким. Советская власть, изгнав поляков, устроила в костеле зернохранилище, конные подводы въезжали через центральный вход. Пока не стала протекать крыша, в костеле хранили зерно, после его переоборудовали под склад промышленных товаров. Здание разрушалось, склад ликвидировали и решили устроить в костеле котельную. Колокольню снесли, на кладбище при костеле врыли емкости с мазутом, в крышу встроили огромные

котлы, а по западной стене воздвигли стальной дымоход. В ходе перестройки из подземелья вынесли прах Потоцких...

20 августа 1991 года костел был освещен заново. Епископ Маркиян Трофимяк участвовал в торжествах. Костел отдали, но котельную оставили; она обогривала полгорода. Когда печи перевели на газ, то газ — несколько лет тому назад — взорвался, соседний дом взлетел на воздух, погибло сколько-то человек, ни в чем не повинных. Тут власти взялись за ум.

Можно спросить, что лежит у меня на сердце. Мог бы — может быть — сделать больше. Но это уж не наша забота, люди, тут рас судит Бог. Ничто из сделанного мной не есть моя заслуга, не полагаю я, как человек, такими возможностями. Нашел костел в Трибуховцах — переоборудованный в школьный спортзал, обращенный в прах. Посчастливилось мне с Божьей помощью найти оригинальный дубовый алтарь, пролежавший в курятнике пятьдесят лет. Икону главного алтаря, спрятанную на крыше. О чем жалею: что во время освящения костела носили меня на стуле, ноги не держали вовсе. Есть в списке найденных мной святынь Золотой Поток, где в костел пустили кинотеатр. Есть Порохова, Куровичи, Устье-Зеленое, Тернополь. А взять тот костел в Старых Петликовцах, что сравнивали с землей, когда фронт подошел к Стрыпе! Ничего не осталось почти. Я помнил еще со времен школы: мы приходили сюда, Марианская содалия. И снова удалось,

хоть стоило это двух лет тяжкого труда, прекрасный костел стоит. На этом список не заканчивается, еще каплицы, а еще в процессе работы, и кладбища...

Викарий, администратор, пробош, каноник, прелат, декан — всё это бусинки моего ружанца. Есть у меня моя пенсия, приписан навечно к дому ксендзов-эмеритов в Ополе. Уезжал отсюда как-то, возвращался туристом. Инстинкт меня вел, тоска — подобная той, что наставляет перелетных птиц на обратный путь. Поначалу в целом воеводстве нас было трое. По приглашению я мог пробыть здесь тридцать дней подряд. Значит, чтобы не гневить власть и не быть депортированным, каждый месяц должен был совершить паломничество к границе. Перейти пешком на польскую сторону: туда и обратно. Возвращение свое я начал с костела в Кременце, в марте, затем был Тернополь, где я служил мессы на дому, Чортков, Борщев и наконец родной Бучач. Первую службу в разоренном костеле провел 10 июля 1991 года, за месяц до торжественного освящения...

Порой спрашивают меня, сколько у нас здесь поляков.

Вот, бывает, приходит кто-то и говорит: я — поляк.

Я тогда спрашиваю: какой? Фамилия у тебя украинская, даже если против воли своей ее носишь, имя украинское, говоришь по-украински, *отченаш* на польском не знаешь... А если бы даже был ты поляком, тебя бы тут не оставили... Ну и какой же ты

поляк? На Тела Господня в процессии участвовало тридцать человек. Четыре крещения за шестнадцать лет.

На что мне знать фамилию, религию, национальность.

Иду: вот принцип моей жизни. Когда другой человек выходит ко мне, открывает двери, просит меня войти. Он то же дитя, что и я, рожденный женщиной, так же смертен — брат мой.

Таким образом накрутил я огромный круг. Внутри этого круга лежит поминутно вся моя жизнь, от дня 10 февраля 1917 года, в который я появился на свет — и по сей день, девять десятков.

Разве то, что сейчас есть, мог кто предвидеть? Разве двадцать лет назад поверил бы кто, что стану здесь, на украинской земле, служить капланом?

Спасибо Господу, что я смог вернуться туда, где когда-то родился, к берегам Стрыпы. Спасибо за то, что в конце концов возвратился туда, откуда пришел.

— В 1975 году я получил письмо из Вроцлава от Лидии Добкевич, адресованное моему отцу, умершему лет десять с лишним назад. Начиналось оно словами: «Вот уже тридцать лет каждый день я пишу Вам письмо...», а заканчивалось: «...в регистратуре клиники для душевнобольных я фигурирую как Алиса, приемная дочь Зыгмунта Берлинга». Похоже, без водки тут было не разобраться, а с водкой — тем более.

ЯЗЕП ДОБКЕВИЧ родился 9 апреля 1950 года в деревне Добкевичи Краславского района. Проходил срочную в войсках связи (*шестеро в пути, дай-дай закурить* — сам не курит). Закончил Рижский техникум культпросветработы, работал в деревне Андрупене директором Дома культуры. Окончил Московский государственный институт культуры, работал в Краславе художественным руководителем Дома культуры, а с 1991 года — директором. Был депутатом и зампредом районного совета. Руководит краславским отделением Союза поляков Латвии.

ЖИЗНЬ ПОЛЯКА ДОСТОЙНОГО

Попасть туда нелегко. Не потому, что там нет дорог (с шармом патентованных экскурсоводов уводят они в неведомое), не потому, что нагромождения скал встают на нашем пути (высота над уровнем моря с трудом превосходит триста метров) или неодолимо прерывают маршрут глухие леса и глубокие реки. Трудно, поскольку необходимы веские поводы, чтобы решиться. Есть места, которые начинают говорить с тобой с первого взгляда, они выделяют для наших мыслей пространство свободы, не требуют от нас обоснований. Как может разбудить фантазию провинциальный городок, едва дотягивающий до десяти тысяч жителей, чем возместит медленную, монотонную езду за тысячу верст? Краслава занимает место на самом краю территорий, описываемых словом «кресы». А именно, польские Инфлянты (иначе говоря, Латгалия) после первого раздела Польши отошли к Российской Империи и «домой» уже больше никогда не вернулись. Пускай некоторые историки и умещают в этом объемном, легко сентиментальном

понятии «кресы» земли Инфлянт польских, обычно под *Кресами* понимают именно те территории, что в 1939 году находились в границе Польши.

Итак, впереди долгая дорога через почти всю Латвию. По мере того, как мы отдаемся от Риги, ярче становится зелень за окном, рожь и картошка вытесняют пшеницу с полей, а кирпичная, едва ли не с прусской рачительностью размеченная застройка уступает место хуторам, бревенчатым, разбросанным там и тут небрежно, но с деревенским шиком. (Мне кажется, что мы, запечатанные в капсулу автомобиля, неощутимо пересекаем границу миров.) «В Латгалии действует иная система мер, описать ее с помощью математики практически невозможно...» — предостерегает меня, крутя руль, мой переводчик. Еду, надеясь, что наше затянувшееся введение в Латгалию равняется неспешному продвижению табора переселенцев на восток, в края обетованные: не слишком пока доверяющих той земле, которая в качестве дома навсегда достанется им, их детям, детям их детей — в беде, в радости, в горе.

Арифметики присутствия

«Краслава, по-латышски Круослава, городок и поместья в Инфлянтах польских в Динабургском уезде, живописно расположенные на Двине при впадении в нее реки Краславки...» — так начинается статья в *Географическом словаре царства Польского и*

других славянских стран (т. IV [1883], стр. 616). Польская шляхта селилась здесь с XVI века, эти земли естественным образом были органичной частью I Речи Посполитой. В эту католическую, достаточно мощно укорененную и герметичную общность вливались участники народных восстаний, в межвоенный период сюда докатилась волна эмигрантов — «в поисках хлеба». Даже в советское время в Латгалию, если только открывалась такая возможность, стягивались поляки из других республик — ради свободы вероисповедания, языковой свободы, лучшей работы...

— Наших в «краславском крае», то есть, в городе и окрестных деревнях примерно тысяча шестьсот человек, — начинает свои подсчеты Язеп Добкевич, председатель краславского отделения Союза поляков Латвии, как будто арифметические величины действительно неизбежны. — Значит, на одного поляка приходится двое русских, два белоруса и пятеро латышей. Хуже, лучше, но как-то эти четыре народности уживаются, рядом и мирно. Другое дело, что те, другие, чувствуют себя как дома, отчизна дышит за плечами: до русской, до белорусской границы — рукой подать. А нам до своих далеко. Было время, при языке предков держала нас вера, буквы учили не по родному букварю, а по церковным книжкам для служб, по надписям на надгробьях и памятниках...

Тяжко нырять в глубины памяти, надо надолго задерживать дыхание, чтобы добраться до корней, и не знаешь, хватит ли воздуха. У Добкевичей была деревня, есть и сейчас, ни одного дома в ней

нет, только надпись на карте, а у дедов была, у прадедов, больше пятисот лет они тут, в свидетельстве о браке родители — Виктор Добкевич и София Киселевская — еще в 1928 году были записаны как поляки, граждане Латвии.

Сухое пламя

«Strumień [«Ручей, поток»], Краслава 2010–2011» — мы все вместе разглядываем на компьютере презентацию к Съезду краславских поляков. На слайдах одни и те же люди не первой молодости. Немодные платья, поношенные костюмы: контрастный фон для лиц, полных ласковой безмятежности. Совсем на фоне — в зависимости от сезона — украшенная елка, накрытый стол, памятник на кладбище, венок с бело-красной лентой, сцена местного Дома культуры, фасад польской школы, интерьер костела.

— Научились жить здесь, хлопотать о самих себе, а нам ведь многого не надо: чуть-чуть картошки, грушки из своего сада, какие-нибудь самые необходимые лекарства, на зиму дрова — ну и живем! Радует каждая мелочь, каждая памятка, что доходит сюда из Польши, — слова Язепа Добкевича имеют какой-то архаичный, напевный строй, будто они и впрямь перебирают глубины памяти: — Кто примет это от нас, один Бог знает, уходим в убогую песчаную землю будто вода после дождя.

Нету жалости, ожиданий, сухая констатация факта, согласие с очевидным, наводящее на мысль о библейских пророчествах

достоинство. Даже ноутбук, на флуоресцирующем экране которого возникают всё новые фото, документирующие деятельность Союза поляков Латвии, не выпадает из ряда, кажется прирученным, всего лишь напоминая о быстро меняющихся отношениях между временем и пространством. «Душам смерть стать водою, воде же смерть стать землею. А между тем из земли возникает вода, из воды же душа... — эти слова Гераклита. — Сухой блеск: мудрейшая и наилучшая душа» (пер. А. О. Маковельского).

«Сорок пидж киламетры на сухому пяску»

— То, насколько сильно отличался наш язык от настоящего польского, я понял тогда лишь, когда впервые попал в Польшу. *A cik tual?* *Da natual!* (далеко ли? недалеко — сорок пять километров по сухому песку). Мой отец Виктор (родившийся в Добкевичах в 1909 году) своему шляхетскому происхождению придавал большое значение. К тому же после армии сильно болел. И пришлось маме моей (Софии, дочери лесничего, рожденной в 1904 году) после войны занять предложенную колхозными активистами хлебную должность — общественного пастуха. Я, восьмой ребенок, родился в 1950 году на Пасху. Моим опекуном, кем-то вроде крестного отца, стал товарищ Сталин, и маме каждый месяц выплачивали пособие в шесть рублей [цена 1 кг муки — *В.П.*] — как за пятого ребенка, ведь трое уже умерли. В пятилетнем возрасте я тоже едва не умер, заболев менингитом. Не знаю, возможно ли

это сейчас, но тогда деревенский фельдшер для спасения жизни ребенка колхозного пастуха вызвал самолет, который доставил меня в больницу в Ригу, где врачи два года боролись за мое здоровье — возможно, потому, что звали меня Иосифом. Помню, какую зависть испытал в третьем классе начальной школы, услышав, какие имена носят матери моих товарищей: Революция, Сталина, Нимфа...

Потом средняя школа, армия, театральнорежиссерский факультет в Институте культуры в Москве, распределение. Мама умерла в семьдесят четвертом. Три года спустя, по моей же глупости, всплыло, что брат ее — мой дядя — ксендз. Поскольку работал я в секторе, считавшемся идеологическим, то сразу же оказался в черном списке. В то время случилась вещь попросту невероятная и даже в каком-то смысле дикая, в 1975 году я получил письмо из Вроцлава от Лидии Добкевич, адресованное моему отцу, умершему лет десять с лишним назад. Начиналось оно словами: «Вот уже тридцать лет каждый день я пишу Вам письмо...», а заканчивалось: «...в регистратуре клиники для душевнобольных я фигурирую как Алиса, приемная дочь Зыгмунта Берлинга». Похоже, без водки тут было не разобраться, а с водкой — тем более. Начал поиски и так напал на след Лидии, кузины отца, одаренной пианистки, выпускницы консерватории. Ее мужа без суда расстреляли в тридцать восьмом году в Саратове, сама она пережила блокаду Ленинграда, чтобы оказаться в только создававшемся женском

батальоне Войска Польского. Что привело ее в *Творки*, а оттуда в *Моравку*, сказать трудно. В конце концов, после лет усилий, мне удалось вытащить тетю Лидию и переправить в Азербайджан [к брату, герою Советского Союза А. А. Добкевичу — *В.П.*], но в Латвию, домой, вернуться она не успела, так было суждено ей, нам... — рассказ Добкевича об исполненной трудов жизни течет себе, как та самая река, кружит, описывает меандры, выходит из берегов, за каждой излучкой новые ситуации, новые имена.

Жизнь достойная. «Кап Аркона»

Сенкевич. Реже Прус или Крашевский, но чаще всего Сенкевич и альбомы, рассказывающие о понтификации Яна Павла II, еще катехизис — местный джентльменский набор языка: мы говорим о книгах, петляя между четырехэтажными панельками, типичными для польского поселкового пейзажа семидесятых. Прежде чем мы встанем перед дверью на лестничной клетке, Язеп успеет выдать на-гора основные цифры, касающиеся жизни Яна Клигуля: родился 5 марта 1922 года на правом берегу Двины, предки бежали сюда после восстания Костюшки. Учился в польской школе, состоял в «Союзе польской молодежи», с начала оккупации был в Армии Крайовой в отряде *Вилька* — Александра Крыжановского. В мае 1942 года был вывезен на работы в Германию.

— Наша лагерная бригада работала в гамбургском порту, есть было нечего, хорошо, если в трюмах находились какие-нибудь

остатки. Когда подошли союзники, лагерь стали эвакуировать, в порту Нойштадт нас погрузили на *Cap Arcona*, в прошлом — люксовый трансатлантик. В последний момент меня с группкой заключенных перевели на «Афины». Почему нас? — удивление, словно вопрос до сих не дает покоя. Снимая с полки книжку Суховяка о лагере в Нойенгамме: — Был план, суда с заключенными затопить. Те, на «Кап Аркона», не подняли белый флаг и прямиком под бомбы союзников, тысячи арестантов на дно. Один наш корабль вернулся в порт, чтобы там сдаться. А книги, — видя, что я отыскиваю на полках знакомые названия, — книги после смерти пойдут польской школе. (Ищу в интернете цифры, 3 мая 1945 года, «Кап Аркона» — 4–5 тыс. узников, «Тильбек» забрал почти 3 тысячи, 2 тыс. человек с «Афин» уцелели — под именем «Людвик Варынский» корабль ходил под польским флагом.)

Послевоенная часть биографии Яна Клируля, со слов моего проводника: британский лагерь Нойштадт, решение вернуться в Латвию, мобилизация узников концлагерей, прикомандирование к советской армии, альтернативная служба в госпитале во Вроцлаве, в Валбжихе, наконец, Латвия. Работы в родных краях бывшему пленному не найти — остается Рига, сорок пять лет в Риге. И только на пенсии — Краслава. Два ментальных полюса: «Кап Аркона» с одной стороны, *Латгола* — с другой, а где-то там в уголке, на полях повседневности, судьба выводит предприимчиво свои невероятные сюжеты.

Жизнь достойная. Справка № Е-002528

Думаю, самое время — пока война двадцатого года не завладела целиком нашим вниманием и не отвратила от дел насущных, — представить второго из тех старших краславских поляков, Генриха Галонзку (15 июля 1922 года). Начало истории напоминает романы прекрасной эпохи: отец, легионер из Варшавы, попадает со своей частью в эти места, встречает прекрасную панну и остается ради нее — навечно. Молодые начинают совместную жизнь возле Ужингоры, под Краславой, на Двине.

Таково романтическое вступление, на нем радужная часть заканчивается и наступают периоды выживания, с каждым годом суровее, опаснее. Часть мучительная, преддверие худых лет. В двадцать пятом году сгорает дом, руины имения до сих пор зовут «Галонзкими Песками», голод, голод и нищета, а скотинку пасти надо, поэтому в школу в первый раз в двенадцать лет. («Была дружина харцеров им. Стефана Батория, и был там вожатый, хо-роший, свой, из польской школы, он нами занимался, ездили в лагерь. Я-то ни разу в лагере не был. Моим лагерем было скот пасти. Я-то хотел, а что?»)

Четыре класса начальной школы, затем ее закрывают Советы. Первые аресты, первые высылки, и вот уже немцы, уже стреляют евреев («Четвертая часть жителей Краславы, почти тысяча — многие руки погрели!»), увозят и поляков, а вот уже коммунисты возвращаются победоносно.

— Не было крепкого здоровья, несколько раз пытались затасить меня в армию, но я все-таки переждал в деревне. У немцев в сорок втором просидел три недели в Динабурге. После войны меня, как грамотного, сделали председателем сельсовета. Советы арестовывали дважды: в сорок седьмом, когда выпустили через семнадцать дней, и в сорок девятом, когда дали пять лет — вынимает из ящика стола справку № Е-002528 от 29 апреля 1953 года. Освобожден по амнистии 27 марта 1953 года, выданы ж/д билет в один конец до Даугавпилса ценой 226 рублей 75 копеек и 15 рублей на дорогу.

— Осудили меня в декабре сорок девятого после полугода следствия, по статье пятьдесят восьмой, а по правде речь-то об именинах Софии, учительницы из соседней деревни. 15 мая [София, Тайга, Арита] 1934 года Ульманис совершил государственный переворот и распустил парламент, так вот, они доказывали, что я отмечал буржуазный праздник с целью пропаганды.

Этапами через Москву и Куйбышев отвезли меня в Казахстан, в Кенгир. Мой номер был SJ 133. Там встретилось много поляков, они по лагерям с тридцать девятого, помню, с сентябрьской кампании был капитан Легун, из университета виленского был Ставрьюло и самый, правду говоря, важный для меня — майор Чижевский. Он спасся от расстрела в Катюни, через Смоленск попал в лагерь в Сибири, узнал, чем большевики пахнут, но странное дело: не верил до конца, что убийство офицеров — работа

Сталина. Писать домой было разрешено, два письма в год, «жив- здоров и вам желаю здравствовать», прочее вычеркивали. Потом «с вещами на выход», и я уже в Карабасе-Долинке. А вернулся в пятьдесят третьем — и вот я политический, гнали отовсюду, будто пса, — он начинает суетиться, достает *Карту Поляка*, грамоты, благодарности, хотелось бы спросить о многих вещах, но во двор въезжает трактор с прицепом дров — наиважнейшая справа, зима- то настанет ведь.

Много не мало?

(Нахожу в интернете: в Карабасе профессор Чижевский — не майор, другой — в тот год занимался структурным анализом кро- ви... Через год, в пятьдесят четвертом, в Кенгире вспыхнет вос- стание заключенных и будет подавлено танками...)

И вновь арифметика. По официальным данным поляков в Латвии примерно шестьдесят тысяч, по неофициальным — не- много, а то и намного больше. Фотографии в доме Язепа Доб- кевича: пожилые пани ансамбля польской народной песни и приходского хора при костеле св. Людовика, а рядом девчужки в нарядных краковских уборах. Шестьдесят лет между ними, три генерации, слишком, должно быть, много, чтобы растущая среди них пропасть вдруг перестала расти. Этот разрыв непрерывности, всосавший поколения местных поляков, вызван необходимостью борьбы за удовлетворение основных экзистенциальных нужд.

Какая-то неотвратимая, болезненная биологическая логика, будящая тревогу.

К счастью, нет пророка в своей отчетности.

Троянский конь на льду

«Героям Войск Польских, павших в 1920 году в боях за освобождение Латвии <...>. Тут покоятся воины 3-й Дивизии Легионов Войск Польских», — стоит пройти воротами кладбища, как сразу же видишь памятник. Три ряда по пятнадцать фамилий, званий не разобрать, еще сорок два солдата неизвестны, латунная доска в пулевых рябинах. Арифметика — восемьдесят семь человек. Эпизоды этих битв под условным названием «Латгальская кампания» тоже относительно неизвестны, ни громких побед над большевиками, ни сокрушительных поражений. Операция под кодовым названием «Зима» началась третьего января, в метель, при тридцатиградусном морозе. Польско-латышскими соединениями командовал бригадный генерал Эдвард Рыдз-Смиглы [будущий Верховный Главнокомандующий польской армии в сентябре тридцать девятого]...

К той же истории относится анекдот о кляче, которую по замерзшей Двине загнали на противоположный [правый, «латвийский»] берег с запиской, что это, мол, продовольственный паек для голодающих русских революционеров. Оскорбленные большевики отослали лошадь обратно, тем самым подав противнику

сигнал, что можно наступать. Якобы таким образом была подтверждена крепость льда.

Большевики не слышали ни о Трое, ни о ее конях...

В тот день был освобожден защищаемый латышскими и эстонскими красными частями Двинск.

«Смерть или победа»

Рассказывают (и пишут), что на следующий день, четвертого января, воины 5-го пехотного полка легионов были обстреляны в районе станции Вишки спешащим на большевикам вырубку бронепоездом «Смерть или победа» [бронепоезд № 17]. Разрушив рельсы спереди и сзади, поляки почти что завладели им — почти, поскольку на сигналы тревоги подоспели бронированные поезда *Товарищ Ленин* и *Имени товарища Троцкого*. Не знаю, не краплена ли эта карта? В принципе, слегка голливудский эпизод этот позволяет мне закончить повествование простой, как солдатская дружба, фразой, сказанной главнокомандующим армией Латвии генералом Янисом Балодисом 27 января 1920 года на встрече с Начальником государства Польского Юзефом Пилсудским в Двинске: «Так же как армии — польская и латышская — сближаются между собой <...> народы польский и латышский».

Слова не требуют комментария.

Книга предназначения

СТРАНСТВИЕ ВТОРОЕ: *ТОПОС ПРОИСШЕСТВИЙ*

אמירבו בניו למחרב וצאצאיו לא
ישבעו לחם
ספר איוב כז-יז

Если умножаются сыновья его, то под меч;
и потомки его не насытятся хлебом.

КНИГА ИОВА 27:14

[Синодальный перевод]

«Единственной вещью, которую он не переносил, которая мерзила ему, была дешевка. Дешевка в любой области: умеренность в чувствах, нежелание платить за них подлинную цену, литературные мелизмы, претенциозность, ничего не значащие слова, невыполненные обещания, мнимая правота...»

СТАНИСЛАВ ВИНЦЕНЦ родился 30 ноября 1888 года на Гуцульщине, в Рунгурской Слободе [Австро-Венгрия > Польша > Слобода Коломыйского р-на Ивано-Франковской обл.]. Писатель, переводчик, мыслитель. Учился во Львове и в Вене, воевал в армиях Габсбургов и Пилсудского. В октябре тридцать девятого был арестован НКВД, два месяца провел в тюрьме в Станиславе. В мае сорокового эмигрировал в Венгрию, где вместе с женой Иреной активно помогал евреям [*праведники народов мира*], после войны жил в Германии, во Франции, а с середины шестидесятых — в Швейцарии. Умер 28 января 1971 года в Лозанне, похоронен в Кракове.

...ОН ОТТУДА ЖЕ, ОТКУДА ВСЕ

«Винценц знает, что люди тоскуют по родине, а вместо этого их одаривают лишь государствами. Родина органична, она растет из прошлого, согревает сердца, всегда невелика, близка, как собственное тело. Государство механистично. Родины — суть Уэльс, Бретань, Прованс, Каталония, Страна Басков, Семиградье, Гуцульщина», — писал Чеслав Милош в пятьдесят восьмом году в эссе «Ла Комб».

Нефть, трижды ее в коромысло, нефть...

Рунгурская Слобода, 30 ноября 1888 года. Десятилетие тому назад на землю Галиции полчищами варваров вторглись нефтяные компании. За ними шли, в поисках хлеба насущного, армии безработных, в поисках наживы — банкиры и аферисты. Мир сотворялся заново, от начала: увечный, напряженный, зыбкий, выстроенный из пыли и блеска. Он опирался на миг, не имеющий длительности, вырванный из контекста времени, которое

стало прошедшим, лишенный притязаний на время, называемое будущим. Росли с каждым днем состояния, вырастали торопливо сколоченные деревянные башни над шахтными стволами [кустарная добыча нефти началась здесь еще в конце XVIII века — *прим. перев.*]. Один такой нефтяной рудник появился в Слободе в 1879 году и вскоре стал крупнейшим в Прикарпатье. Через два года Станиславом Щепановским будет основано Первое общество по эксплуатации нефти и озокерита, еще через два года (им же) построен нефтеперегонный завод, еще через три — железная дорога Печенежин–Коломыя и нефтепровод Слобода–Печенежин.

«В родной Слободе Рунгурской, где он [Винценц] жил, знаменитый Щепановский однажды добурился до нефти. [Впрочем, Станислава Щепановского трудно назвать *варваром* — не хуже Винценца образован, был он экономистом, меценатом и реформатором — *В.П.*] Встали буровые вышки, ключом забила нефть. Первые галицийские промыслы исчерпались быстро. Остались высокие дощатые вышки, готовые опрокинуться с первым крепким ветровым порывом. А ветры в той стороне дуют едва ли не круглый год. В межвоенное двадцатилетие уже не приходилось говорить о богатстве. Ну, выкачает один-другой насос с трудом столько-то бочонков нефти. Помню цистерны на рампе... <...> Проезжал там пару раз, был у меня дом на реке за веткой железной дороги, вроде как до Верховины, а то и на Яблунецкий перевал — и дальше, на венгерскую некогда сторону. Однако счастья

лично познакомиться с мэтром из Слободы не имел, увы. Даже не думал, что спустя годы выпадет мне писать о нем» (Андрей Кусневич [1904–1993 — *прим. перев.*]).

Примерно в то же самое время, 12 июня 1892 года, всего в паре сотен километров отсюда, в Дрогобыче — в меченном нефтью и нереальной реальностью мире — родился Бруно Шульц, младший ребенок в семье Гендель Генриетты и Иакова.

Я — сын гуцульского края

Предки Винценца по отцовской линии были из Прованса, прадед [Шарль-Франсуа де Венсан] покинул Францию в 1789 году после Великой революции. Оказавшись в Вене, познакомился с полячкой из Станислава [Ивано-Франковск], женился и зажил во Львове. Дед — чиновник в Станиславе, отец Феликс — инженер-нефтяник, один из застрельщиков галицийской нефтяной лихорадки, сподвижник самого Щепановского. Мать Софья Прибыловская — старого шляхетского рода (в 1864 году переселившегося из Подолья на Покутье), дочь криворовненских землевладельцев. Юный Щюня — так его прозвали, — провел детство в дедовской усадьбе, у Станислава и Отилии Прибыловских. Палагна Слипенчук-Рыбенчук, няня из родовитых гуцулок, рассказывала мальчику сказки и легенды об опришках, мольфагах, знахарях, колдунах, о ведьмах, чудах и юдах, пела колыбельные и коломыйки. Водила его на Рождество, Крещение и Пасху по

церквам в отдаленных деревеньках, брала в собственную семью на крестины, свадьбы и похороны, обучала гуцульским обычаям и обрядам: на Зеленые святки, в Юрьев день, Андреев день, на Ивана Купала, Маковея [Медовый Спас], Николу... Цвета гуцульских одежд, краски Карпатских гор, звуки трембит и фуюр — одна сторона *мира детства*. Другую, более официальную, представлял Лука Гарматий — местный учитель, приятельствовавший с Иваном Франко и Лесей Украинкой, — а также местный поп Йосип Бурачинский, отец Осипа Бурачинского, друживший с помещиками Прибыловскими. Тот даже предоставил в распоряжение Щюни свою библиотеку.

Жабье, столица...

Разными способами добираются люди до Криворовни. Кто со стороны Коломыи, через Ворохту, кто со стороны Верховины. Мы — в числе последних. Поселок городского типа (до шестидесят второго он звался «Жабье» — такой известный курорт межвоенного периода, Жабье), на площади автовокзала дремлют маршрутки. Ехать пять-шесть километров, но кто когда проснется и куда поедет — тут лучше положиться на интуицию, *на чуй*.

Идем по обочине. За спиной маячит городская застройка (село городского типа — звучит гротескно). «Вот Жабье, гуцульская столица», — писал Иван Франко: где-то явно должна быть надпись, увековечившая его слова. [Иван Франко писал в 1884 году: «Ось

Жаб'є, гуцульська столиця,/ Нема, мовляють, села понад Жаб'є,/ І більшого лиха шукати дарма,/ Чиж люд той зовсім воно заб'є?/ Де паслися вівці гуцульські колись,/ Воли там жидівські пасуться;/ Ті ж, що перед ними магнати тряслись/ Тепер перед жидками тряуться...» — *прим. перев.*] На горизонте тонет в дымке Черногора с нахлобученной шапкой снежного серебра, далеко-далеко. Нить асфальта вьется меж хребтами вдоль Черного Черемоша. Зелень одуряет, дурманит, горы ворожат... Коридор дороги, с обеих сторон высокие, поросшие лесом стены. Время от времени дрожащий подвесной мост из латаных досок зовет перебраться на друтой берег взъяренной реки. Несущийся сломя голову поток вступает в игру, пронося под нами зеленую мутную воду.

«Местами дожди местами вёдро местами зелень местами иней...» — припоминается мне «Карта погоды» Ярослава Ивашкевича, и ему случалось быть гостем здешних мест.

[Местами дожди местами вёдро/ местами зелень местами иней/ местами степь а местами воды/ может розовы может сини./ / Местами больно местами здраво/ местами смешно аж до слез смешься... — *прим. перев.*]

А у асфальта есть оттенок... игра продолжается — зеленый!

Узким небесным руслом плывут в означенных отвесными скалами пределах неспешные грозовые тучи. Сморщенные ветром, смоченные дождем, обесцвеченные светом. Утомленные своим плаванием, суетой игры, изумрудной забавой. А там, наверху,

посаженные на самой круче гуцульские избы — красуются, притягивают взгляд.

Как детские игрушки — выполированные, позолоченные солнцем. Деревянная церквушка Рождества Богородицы XIX века царит над дорогой. Оттуда видна гуцульская *гражда* — полу-дом, полу-крепость XVIII века по ту сторону Черемоша.

Ищу, смотрю по сторонам, вокруг себя — тут поблизости должна быть крипта, в которой починут предки Винценца.

Один лишь крест, в зарослях травы, под дерном — остатки бетона, только и всего.

Из-за реки пронзительно окликает трембита.

Возле церкви

«Моя мама Василина приходилась писателю Станиславу Винценцу двоюродной сестрой по матери. Потому как мама его, София, родилась в Криворовне и была сестрой деда моего, Станислава Прибыловского (в деревне его все называли паничем). Поэтому Станислав Винценц — то дядя мой. <...> В Криворовне возле церкви похоронены пятеро из нашего рода: прадед Станислав, прабабка Отилия, дед Станислав Прибыловский и двое деток...»

...На голос трембиты

«От первовека в ночь предначертаний. Молния, лес и водопад, три шумливых посла, совет держат, как зачинать трембиту. На бирках

березовых старого века так писалось: 'Возьми на трембиту сухой ялины ствол, молнией сокрушенный, перуном расколотый. Выдолби из него трубу, сожми натуго и сплети лыком березы, что под водопадом росла, из пены и шума.'

Так толкует рабoш, плаха березовая, прежде, днешь и завтра: 'Да имеет трембита силу грома, раскатистость! Водой перепета, да сольется она со всеми тайнами вод, родом из пуш. Да владеет, да связывает, как вода'.

Таков замысел устроенья трембиты, выбрасывающей стрелы, коим даль пересечь дано, вытягивают ее немерено длинной: понад три метра. В разрезе же к ничтожности сводят: у пищика дюйм, в раструбе — неполных три дюйма. Сухая, сплетенная гладким лыком до блеска, легче пуха, хоть и длинна. Красива будто девица-горянка, что птица строптивая. Кто в игре неопытен, не знает, как зачинать с ней, лишь дыханию мастера, груди ватага послушна. От молнии, от леса, от шума вод, от ночи предначертаний зачата — раздирает она преграды. Утренние из нее брызжут зори, пиры радостные и печальные, из нее изливаются времена года, лета и столетья. Она, предначертанный образ края и людей Верховины, днешь оглашается миру...» (Станислав Винценц, «На высокой полонине»).

Я верю в силу духа

Гимназия в Коломые (в ней Винценц знакомится с [будущим

скамандритом] Казимиром Вежинским и [будущим режиссером] Вильямом Хожицей), Львов, Вена. В Вене он изучает право, философию, санскрит, защищает в 1914 году диссертацию о влиянии философии Гегеля на Фейербаха. Участвует в Великой войне на стороне Австро-Венгрии, в девятнадцатом году добровольцем вступает в Войско польское, участвует в походе Пилсудского на Киев. В двадцать первом демобилизуется, переводит Достоевского и Уитмена, входит в среду еврейских интеллектуалов, редактирует «Новые времена», «Дорогу», «XX век»: Рунгурская Слобода > Милянувек > Варшава > Ворохта > Быстрец.

Первый том — *Старовечная правда* — эпопеи «На высокой полонине» выходит в 1936 году в Варшаве [изд. тов. «Рой»]. «Эта книга впервые вводила в сферу польского сознания пастушью седую культуру со всей ее самобытностью, с корнями религиозными и мифическими, тянущимися частью из Древней Руси, Балкан и Греции, частью из времен еще более давних. Книга в семьсот страниц настолько была чужда современной моде, что одни критики восприняли ее как нового гуцульского Тетмайера [Казимеж Пшерва-Тетмайер, автор фольклорного цикла «На скалистом Подгале» (1903–1910) — *В.П.*], другие сочли типичным народоведческим трудом, хотя такой выдающийся этнограф, как Ян Станислав Быстронь, сразу же определил литературную значимость произведения, приветствуя во всесторонней рецензии эпос масштабы ‘Калевалы’!» — писал сын Винценца, Анджей.

В честь двадцатилетия со дня смерти Ивана Франко, которого знал еще с детства, он ставит в своем саду памятник с надписью: *Я верю в силу духа. Памяти Ивана Франко — Сына этой земли* [«Моисей», поэма Ивана Франко: «Вірю в силу духа/ І в день воскресний твого повстання...» — *прим. перев.*].

Некий Матаржук

Анджей Кусневич, еще раз: «Станислав Винценц перед войной владел не слишком старинным, однако вполне недурственным именем в живописном парке, с фруктовым садом. <...> Для своих гуцульских соседей был и другом, и советчиком, отнюдь не барином или помещиком. И они это сумели оценить в 1939 году, осенью, дав ему наилучшую характеристику. Некий Матаржук, местный гуцул из Слободы, будучи спрошенным большевистским командиром, каков же *ихний пан*, отвечал: ‘Пан хороший сосед, живем ладно, всегда приглашает нас, и проходят у него вечеринки с нашей музыкой и нашими танцами’».

Закрываю глаза, опираясь о стену

За оградой, у самой дороги, большая изба из грубых, почти нетесаных бревен, посаженных без затей «в обло». Рядом на лужайке — скромный бюст на столбе, памятник. В этом месте Черемош будто специально отдалается от дороги, чтобы оставить место для парковочки напротив музея, там останавливаются автомобили.

(І голос сильний нам згори, як грім, гримить:/ «Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод/ Не спинить вас! Зносить і труд, і спрагу, й голод,/ Бо вам призначено скалу сесю розбить...» Хрестоматийные *Каменщики*. О ком это? Явно не о гуцулах...)

Небольшая веранда, карты, путеводители, открытки, бусы, резные ложки, памятки, которые ни о чем не напоминают, не задерживаются в памяти, но когда-нибудь, будучи неожиданно найдены в куче ненужного барахла, могут повернуть мысли вспять.

Табличка: «В этом здании жил и работал... 1905–1914... украинский...» Конечно же сюда заходил и Винценц, *на разговор*.

Внутри темновато, простой стол накрыт гуцульским килимом, долгая скамья, узкая кровать в углу. Точеные вручную деревянные тарелки, миски, желтоватые кружки из грушевого дерева или же вон те, красные, из вишни — из них и сегодня пьют, можно прикупить на косовском базаре. Остановленное время. Обложенная авторскими изразцами печь надстроена до потолка: греть помещение. На кафельных плитках птицы, петухи, женские фигурки, всадники... бронза, бирюза — зеленый?

Сажусь на табурет, опираюсь плечами о стену, закрываю глаза.

Элегия отсутствия и смерти...

«Единственной вещью, которую он не переносил, которая мерзила ему, была дешевка. Дешевка в любой области: умеренность в чувствах, нежелание платить за них подлинную цену, литературные

мелизмы, претенциозность, ничего не значащие слова, невыполненные обещания, мнимая правота; претендующая на истину в последней инстанции наука, мода во всех ипостасях и на всех уровнях; чувственный или политический расчет; погоня за карьерой. <...>

Был также учителем, сумевшим понять элегичность неприсутствия и смерти. Был верующим католиком и неисправимым еретиком. Не думаю, чтобы кто-то мог быть более неколебим в вере в Бога, сильнее мучим злом и влеком к бунту» (Жанна Эрш [Jeanne Hersch]).

Подобные ему люди — откуда они берутся?
Куда они уходят?

Татарским шляхом

В 1939 году, 18 сентября Станислав Винценц, вместе со старшим сыном и двумя друзьями, предпринял вылазку в Венгрию — видимо, с целью оценить возможность эмиграции. По возвращении был арестован НКВД за нелегальное пересечение границы. Украинские писатели Иван Ле и Петро Панч поручились за него (биографы подчеркивают большую роль первой жены, Елены, в мобилизации — на помощь Винценцам — польской и еврейской интеллигенции...), помогли выйти на волю. Вернулся в свой дом в село Быстрец на реке Быстрец, откуда в мае сорокового года с помощью гуцула Петра Белоголового [Петро Білоголовий] убежал

таки в Венгрию, перейдя границу Черногоры с женой и детьми [через Татарский — он же Яблунецкий или Ясинский — перевал — *прим. перев.*].

Свидетель

«Меня зовут Белоголовый Дмитро Илька, я родился в 1924 году в селе Быстрец на хуторе [на горе] Сегельба. Мои родители Илько и Настуня были родом из Быстреца. Зимой 1946 года деда с отцом и с матерью выселили в Сибирь, в Хабаровский край. Родители не вернулись в Быстрец, а померли и схоронены в Сибири. Я остался жить в деревне у своих родных на хуторе [в урочище] Дитул. Я не раз встречался с паном Вицентом в Быстреце. Вицент имел свою дачу в Быстреце на хуторе Скарбы. То была фанная деревянная хата на каменном фундаменте. Строили ее наши мастера из Быстреца под началом Петра Готича. С нижней стороны, пониже хаты, были высажены в один ряд елочки. Вицент построил на земле Настуни Белоголовой. Повыше пана жила Настуня Белоголовая с сыном Василем. Вицент и Петр Белоголовый были большими друзьями. У Вицента служили наши гуцулы. Петр Белоголовый был хорошим охотником и в 1940 году перевел Вицента с женой и детьми через Черногору в Венгрию. Тогда в Быстреце была русская пограничная застава. Когда Вицент сбежал за границу, то начальник заставы сказал, что лучше бы убежало сто простых гуцулов, чем один писатель Вицент. Пограничники

его тайно блюли, чтобы он не сбежал. Петра Белоголового не выселили в Сибирь. Петр уже умер, а Василь еще здравствует. Петр Белоголовый — он мне был дядькой» (записано Иваном и Ярославом Зеленчуками).

«...*Чтобы жили в достатке*»

До сорок шестого Винценц жил в Венгрии. Когда Центральная Европа оказалась в зоне советского влияния, двинулся дальше, в Германию, а позже во Францию. Жил в альпийском Гренобле, а с шестьдесят четвертого года — в Лозанне, Швейцария. Сотрудничал с издательством парижской «Культуры» [*Institut Literacki*, в 1946 году основанный Ежи Гедройцем, Юзефом Чапским и др. — прим. перев.], завершал очередные тома эпопеи «На высокой полонине».

...*Он оттуда же, откуда все*, — настаивал Чеслав Милош, говоря об эмигрантах из Центральной Европы, в том числе о себе самом.

«Слава Иисусу Христу! Сажусь писать это письмо в новое кресло, приветствую тепло, низкие поклоны, навсегда в сердце нашем. Желаю пану и детям панским здоровья и силы, всяческого счастье семье пана, чтобы жили в достатке. Уж сколько лет минуло, как я не видела пана, и так по Вам грущу, временами плачу. Очень грустят о Вас и наши соседи...» (из письма Василины Черныш, кухарки Винценца, 1966 год).

Украинские Афины

Чрезвычайный рельеф Криворовни, по форме напоминающий горный амфитеатр, позволил известному этнографу, будущему академику ВУАН Владимиру Гнатюку назвать это гуцульское село украинскими Афинами.

Другое прозвание/признание — летняя столица Украины. *Здесь*, как говорится, *были* Иван Франко, Михайло Коцюбинский («Тени забытых предков»), Ольга Кобылянская, Леся Украинка, Михаил Грушевский...

Местные жители могли без труда общаться на немецком, украинском, румынском, польском — словно все эти языки были естественным образом приписаны к этому краю. И уже потом — повыше целого Вавилона — *говор гуцульский* и священные обычаи, которым и по сей день верны.

— ...К твоим алтарям молитву мы возносим: Благослови Родину вольную, Господи, — так пели мы, когда были маленькими, встречая Пилсудского в Криворовне [*Przed Two ołtarze zanosim błaganie:/ Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie* — припев из песни/гимна «*Boże, coś Polskę*» — В.П.]. Там на росстани, через которую вы проехали, — та росстань, где дорога уходит на Ясиню [бывш. столица *Гуцульской республики*, 1918–1919], там мы встречали, нас такой научили песне, — этими словами приветствует меня пожилая женщина, когда я постучался в дверь ее хаты, спрашивая о Винценце (Теодозия Плытка-Сорохан, 1921–2017).

Черногора как мировая линия

«Черногора — это место, откуда одинаково близко как до земли, так и до неба, до гуцула — или до Бога», — писал Винценц. Он умер 28 января 1971 в Лозанне.

После смерти жены в 1991 году останки Ирены и Станислава Винценцев были перезахоронены на Сальваторском кладбище в Кракове.

«В одиночестве странника среди молчащих лесов, чей шепот каждый полнит нас дрожью, каждый шелест растворяет человека.

Когда августовским утром приезжает странник на берег Черемоша, в Криворовню или Ясенов, таким ясным днем, какие лишь там случаются, тогда вода сверкает и сияет так, что каждая отдельная капелька различима глазом, тогда на деревьях ветви, листья, иглы и шишки настолько напитаны светом, что каждая мелочь отбита от синевы. И пусть корни деревьев сокрыты, пускай весь мир этих буйных корней луговых гнездится в земле, в такой день отчего-то думается: ведь если открыть их, явить, если б и их коснулся свет... Проник бы в каждый венчик, в каждый волосок корня. В такой день можно поверить, что целый мир выткан из световой вуали. Что всюду свет роднится со светом и порождает свет. Что нет вещи, которой нельзя было бы постичь простым взглядом. Может, даже дорога к смерти, безвозвратная и непостижимая, стоит только насытить ее мощным светом, распадется в такой прозрачной игре капель, подобно глубинам Черемоша.

Но когда глубокая ночь затопит Ясенов, а над вершинами забьется из пропасти небес пронзительная пульсация света, другие же огоньки всё легче, всё ничтожнее расплываются в черных безднах, ощущаешь тогда, что есть стихии могущественнее, нежели свет. Скользят по ним, нимало их не пронизывая, одинокие лучи.

В жизни людской выше общения и работы, выше празднеств и радости, выше дружества любого старше и сильнее стоит одиночество...» (Станислав Винценц, «На высокой полонине»).

Наш Винценц

Наш... говорят о нем в Криворовне. «Когда Вицент сбежал из Быстреца, то дачу его государство разломало и построило клуб. Потом тот дом сожгли. Теперь в Скарбах осталось одно пепелище от дачи Вицента. На пепелище растут три кедра, каштан да ялины. Жаль, что все это пошло в забвение, ведь пан Вицент прославил нас на весь мир» (Дмитро Білоголовий).

Избу наполняет запах свисающих с потолка овечьих шкур, натертой салом упряжи. По стенам — трембита, рог, гуцульские инструменты, фотографии под стеклом, несколько пожелтелых газет, книги в рябинах времени: «Диалоги с Советами», «На стороне памяти», «Венок из барвинков» [третий, заключительный том эпопеи].

— Я тут в музее лет сорок, в последнее время на должности старшего научного сотрудника, — начинает разговор Микола

Зурак. — Винценцем заинтересовался еще в пятидесятые-шестидесятые, во Львове выходил журнал «Жовтень» [Октябрь], в нем фрагментами публиковались украинские переводы из *Полонины*. Позже, уже здесь, познакомился с его двоюродными, ходил по его следам...

«В 1991 году впервые на Украине, в Криворовне, состоялся международный симпозиум ‘Станислав Винценц, Украина и европейская культура’. Почетными гостями были его сын Анджей, проживающий в Германии, и дочь Барбара из Швейцарии, его живущие ныне друзья со времен философских диспутов на альпийской вилле Винценца в *Ла Комб*, швейцарские, чешские, польские и украинские энтузиасты его творчества...» — читает он письмо, а может, резолюцию того семидневного симпозиума, обращенную к властям, к университетам, к учреждениям культуры, больше напоминающую список благочестивых пожеланий: популяризовать, издать, перевести, поручить, выступить, написать, собрать. Конкретным является одно последнее предложение — в сто двадцатую годовщину рождения, 30 ноября 2008 года, открыть в Криворовне музей Станислава Винценца.

Время пошло...

Могу все отрицать, могу во всем признаться — в своих грехах и ошибках, в плохих решениях, хороших поступках, в прошлых и будущих заслугах, в происхождении польском. Но ничего из того, что уже произошло, это не изменит. То, что я — поляк, никого не волнует.

ВАЛЬДЕМАР ПОЖАРСКИЙ родился 5 октября 1941 года в России, этнический поляк. Образование высшее, Москва, телевизионная журналистика. Жил в Риге, занимался издательской деятельностью, продажей интернет-услуг, торговал в Старом городе собственными рисунками. Умер 27 апреля 2018 года.

ДАУГАВА, РЕКА СУДЬБЫ

— Тогда она вернулась в Ригу, ей разрешили... потому что она, чуешь, была такой пионеркой, сплошной пионеркой... ну, харцеркой по-польски, такой вожатой харцерок, — он говорил с паузами, с усилиями подбирая подходящие слова. Стоя в стороне, я подслушивал — по-над плечами собеседника рассматривая его лицо. Когда он говорил, то шевелил пальцами, будто считал деньги — казалось, он хочет оценить подлинность слова, с таким трудом найденного в закоулках памяти. Его ноги в разношенных сандалиях исполняли ритуальный танец на месте: по гранитным плиткам, которыми была вымощена улица — вершок вправо, вершок влево. А может, он просто переступал с ноги на ногу. Сквозняк, такой естественный для улочек портовых городов, встрепывал его запущенные длинные волосы. Тогда он проводил рукой по лицу, как бы отгоняя эти порывы разгулявшегося ветра. Дрожащими пальцами вытягивал сигарету...

Рига. Просоленный (просмоленный?) воздух, надсадно орущие чайки — брюзгливые, вечно недовольные жизнью женщины.

Польские ворота — улица *Полю gate*.

Костел Скорбящей Богоматери — называемый «польским».

Леса — снаружи, около входа, и внутри.

Наконец, те двое: отсутствующие, застрявшие во времени, а в стороне — я, с краю, на расстоянии...

Личный скелет... Моя семья прибыла сюда из Литвы — продолжил он после небольшой паузы.

В 1901 году Юзеф, мой прадед, переселился в Ригу. Его сын, мой дед, был кузнецом, а железной дороге, построенной в 1861 году [видимо, участку Рига–Динабург — *В.П.*], требовались кузнецы. Рига росла себе, была третьим по величине промышленным центром империи. На дороге он отработал пятьдесят лет. Шутил, что достоин звания историка-экономиста, потому что безо всяких архивов мог сравнивать политические системы и, соответственно, системы цен. Батюшку-царя, свободную Латвию, Латвию Ульманиса, советскую оккупацию, немецкую оккупацию и так далее. Узорчатые ворота кафедрального собора — его работа: такое символическое письмо. Весточка оттуда.

Отца звали Фердинандом. Родился в одиннадцатом году в Риге, строитель. В день свадьбы в тридцать седьмом маме исполнилось восемнадцать лет. Ульманис объявил тотальную мобилизацию, и в двадцать девять лет отец сделался солдатом. Красные танки въехали на улицы 17 июня 1940 года, офицеров расстреливали, унтеров высылали в Сибирь, солдат забирали в Красную армию, заставляли давать присягу. Мать вместе с другими беременными женщинами отвезли вглубь России. То, что немцы объявили 22 июня 1941 года,

было полным сюрпризом. На следующий день захватили Литву, там была база подводных ракет, через неделю взяли Ригу. Отряд попал в окружение, отец попал в Шталаг, в Саласпилс. Умер с голоду в сорок втором, только всего и знаю. Дед выкупил у немцев его труп, благодаря этому у нас на кладбище есть свой личный склеп, не каждый в Риге может похвастаться личным склепом.

«Я — поляк, — воздел руки кверху, к небу, призывая Господа в свидетели, — поляк с виленской стороны».

Живопись... «Есть из чего выбирать, сезон еще не начался», — приглашает, видя, что я приглядываюсь к рисункам, расставленным на лесах. Сигарета.

Человек из глины... «Герой соцтруда» — это была наивысшая честь, которой удостоивался обычный гражданин. Богатырь социалистического труда, так говорилось. Заводы, колхозы выставляли свои кандидатуры, хотели отвоевать для себя героя. Решал комитет партии. Не знаю, как это вышло, должно быть, не проверили дедову биографию. Один из дядьев, Аркадий, служил в легионе СС — не из убеждений, просто достиг призывного возраста. Служил в части, которую немцы использовали для подавления гетто в Варшаве, за что в сорок пятом попал на Колыму, а на «Большую землю» лишь девятнадцать лет спустя. Другой мой дядька — Юзеф по прадеду — вступил в Армию Людову, попал в

Польшу, дезертировал в польское подполье. После войны — польская тюрьма. В Латвию не вернулся — отсидел и осел в Гданьске.

Ветер. Пауза. Спичка.

— Кроме сыновей дед еще достал двух дочек: Ванду, наимладшую, и Пруденцию. Пруденцией бабушка назвала мою маму — по календарю. Учительница считала, что мама ломает дурака, не могла понять, что за имя, — затягивается.

— Может, беспечность партийного функционера, может, целенаправленная акция — стал дед героем социалистического труда. За право изваять памятник боролись лучшие художники. Дедушка позировал в кожаном фартуке с молотом в руке — помню долгие и утомительные сеансы, был ребенком, не ходил еще в школу. Памятник спрятан сейчас в подвалах национального музея.

Если дед был твердым, как железо, то я, его внук, могу по праву зваться человеком из глины.

Теоретически... Все в жизни, с начала и до конца, есть дело случая.

То, что я в Риге.

То, что ошибочно вышел из трамвая одной остановкой раньше.

Что очутился здесь, перед костелом, в воскресенье после обеда.

Что — пускай на расстоянии, со стороны, — но все-таки опосредованно участвую в беседе. Свидетельствую.

И даже то, что к набережной Даугавы-Двины пришвартовался — хотя еще не начался туристический сезон — паром

японской компании и город оккупировали азиаты. С другой стороны, я наверняка пошел бы в Старый город и наткнулся бы на него. Наверняка.

Как это было... Родился в октябре сорок первого в России. Зовут — Вальдемар Пожарский, — представится он позднее, когда надумает принять мое приглашение зайти в кафе неподалеку от Пороховой башни.

— Тогда, в сорок четвертом, вернулась в Ригу моя мама, это не было легким делом, некоторым удавалось только по смерти Сталина, да и то не сразу, разрешили ей... потому что она, чуешь, была пионеркой, вожатой пионеров... — повторит ту самую фразу, которую я уже слышал. Затянется. И: — Мы жили одиннадцать человек комнате. Мое место — под обеденным столом. Когда-то, в начале девяностых, я побывал там со своим сыном, он спросил: «Как это было возможно?»

Отвечал: «Не знаю».

Мама пошла учиться на юридический. Познакомилась там с моим отчимом, после они вместе работали в прокуратуре. С детства я странствовал, ходил то в латышскую школу, то в русскую: прокурор — он что харцер, должен быть всегда готов, мать перебрасывали с места на место. Но какая бы ни была школа, везде мне доставалось — был везде чужим, был поляком. Имел вариант отправиться в морское училище, это было специальное учреждение

для детей погибших советских воинов, но не пустил меня дед. Так что доучился в обычной средней школе и устроился в фотоателье. Манила меня фотография, нашел свое место в жизни.

А уж так переполняла меня моя польскость — я даже обезболивающий укол не давал делать зубному врачу, чей кабинет располагался в здании польского посольства при Ульманисе [на улице Медниеку — *В.П.*], столько было во мне наивной веры!

Хотел пострадать за Польшу.

Зарабатывал больше, чем отчим-прокурор. Был известным.

(Он произносит это так, как если бы заработок и известность были наиважнейшими вещами в жизни человека. Спустя мгновение усмехнется своим мыслям, снисходительно — хотя кто может поручиться, что своим?)

Москачка... В Латвии реальная жизнь — она по-за Ригой. Старый город, брусчатка меж рустованных стен, всякие ворота, соборы, костелы, ратуша, гильдия... хорошо для туристов. И высокая башня на железнодорожном вокзале, как статуя языческого божка...

А новые районы вокруг — для новых, пришлых. Например, Московский. Или — без реверансов: «Москачка».

Русских в Риги почти как латышей. Злые языки утверждают — больше! Живут по советским правилам, своим богам служат по-русски. Привыкли к тоталитарным системам, без страха перед наказанием не умеют жить. Латышей не любят, с высоты рижских

небес вещает для них, что Моисей, через спутниковые передатчики российский президент.

Но и латыши не любят русских. Не любят вообще никого.

«Должны были выбирать между Германией и Россией, выбрали Германию, потому что предпочли западную цивилизацию. Немецкая власть была для них меньшим злом. Огромное влияние на их позицию оказала советская оккупация. Они считают борьбу с Россией национальной обязанностью», — слова предпоследнего командира 15-й ваффен-гренадерской дивизии СС (*1-й латышской или Латышской дивизии добровольцев*) оберфюрера Адольфа Акса мало что не проясняют.

Моя жизнь — театр... То, что сейчас расскажу, покажется бредом, — в который раз упреждает он мой вопрос и будит мои сомнения:

— Я не похож на человека, принадлежавшего прежде к телевизионной элите.

Мать слезами вынудила меня пойти в институт, в прокурорской семье все должны иметь соответствующее образование. В шестьдесят третьем сдал в Москве документы на самый модный курс, на факультет журналистики, хотя шансов, по сути, не было. Но власть вела хитрую игру в демократию, разбавляя круг избранных по одной ей ведомому рецепту — то каким-нибудь пеньком из глухой белорусской деревни, то латвийским пареньком из

предместья. Я вытащил счастливый билет — специализировался на телевидении, большую роль сыграло знание композиции, пригодились работа в фотоателье. Мог бы зацепиться за Останкино, за столицу, но в шестьдесят восьмом вернулся в Ригу, начал работать в информационных программах — тогда еще вышла Чехословакия. В то время немногие тележурналисты в Латвии чисто, без акцента, говорили по-русски. Из Москвы шли депеши — высылайте Пожарского на встречу в Эстонию, на съезд, на торжества...

Судьба несла меня в гору, популярность, вечеринки, алкоголь... Деньги, слава, ехало-шло. Всё чаще мнимость, всё реже — настоящее. Как-то простилось мне, что я поляк, чужой, а я так не старался напоминать...

Женился, родился сын, второй. Перешел в газету, называлась «Голос Риги» [*Ригас балсс*], нужна была стабильность. В рамках информационного обмена получал тексты ПАП [Польского агентства печати — *В.П.*], имел дополнительный доход с переводов.

Но настал восемьдесят первый год, и жизнь вновь обернулась театром. Как у Шекспира: люди играют роли, то смешные, то трагичные — в бесконечно длящемся действе рождения и смерти.

Документы... В Латвии у людей не было документов. Власть добивалась полного контроля над людьми. Даже билеты на поезд именные, чтобы купить на вокзале билет, надо было предъявить удостоверение личности. Так они пресекли миграцию жителей

из села в город. В России существовали уже поселки городского типа, а у нас «село» означало хутор — три, четыре дома. Нет аусвайса — сиди дома. Бывало так, что председатель колхоза, которому для работы не хватало людей, привозил жителей других республик, обещая выдать им документы — такова цена свободы. Документы как избавление.

Туристы... На белом фоне еще заметны следы черного фломастера. Контуры изнутри закрашены краской. Пятно, собор, пятно. На шпигеле соборной башни — золотой петушок. Поднимаю голову — петушок?..

— Они указывали направление ветра — чтобы лоцманам легче рулить, когда проводят суда по акватории. Верили также, что приводят на землю день... Туристы, привыкшие к крестам на костельных башнях, вечно удивляются.

«Голос Родины»... То, что я скажу дальше, покажется еще бредовее — я отказался работать на спецслужбе.

В один момент КГБ внезапно лишился ушей и глаз. Главный редактор «Голоса Родины» [*Дзимтенес балсс*], полковник, как выяснилось, госбезопасности, аккредитованный при ООН, попросил убежища. И сдал всех секретных сотрудников, которых сам завербовал [имеется в виду Имант Лещинский — *прим. перев.*]. Я отказался не потому, что был смельчак — просто был убежден, что

уж кому-кому, а мне ничего сделать не смогут. Имел мощный тыл. Хуже того, пошел с жалобой к коллеге отчима по прокуратуре, который ведал надзором за соблюдением прав человека тайными службами. И оказалось, что малый чин, что со мной разговаривал, рулит даже прокуратурой. Отняли у меня трудовую книжку, лишили рабочего стажа. Жизнь покатила под откос.

Договор с газетой не продлили. Кто-то еще пытался помочь, телевидение купило мой сценарий, время от времени сваливался случайный заработок. Под конец осталась разгрузка вагонов, когда приходил внеплановый состав. Четыре года так продолжалось, пока не вызвали меня в *Угловой дом*.

«Не хотим, чтобы пан закончил в психушке, у пана жена, дети, прошу принять от нас работу в Ташкенте, в газете, — такую добровольную ссылку мне офицер предложил. — Зла на нас прошу не держать, у нас инструкции, правила, процедуры».

Так я попал в Азию, в Узбекистан, в «Вечерний Ташкент». Из города я был невыездным, зато мой средний сын, лауреат олимпиады физических наук, участвовал в международных встречах в Австрии, в Японии — парадокс! Другой эпизод: на волне перестройки я хотел создать в Москве издательство. Но не было прикрытия «сверху», *крыши*, быстро обанкротился — и в Ригу.

Мнимость?.. Не знаю. Не смогу разбить историю на отдельные эпизоды, не сумею их оценить.

Один лишь язык, культура речи, иностранные слова, обороты свидетельствуют за него, являются его аргументами.

Прочее — против. А ну как это как раз — мнимое? Сколько безумных вещей вокруг?!

Гром не ударит, мужик не перекрестится... Начал думать о жизни иначе — вроде как по известному лозунгу.

Вернулся в Ригу.

Мама умерла. Отчим умер, моя жена.

Двое сыновей живут в США, один на Украине. Остался сам.

Рисую вместе с Игорем. Он русский, но не живет в этом их гетто. Отлично чувствует свет, мы с ним дополняем друг друга. Я набрасываю образ, komponую, он заполняет цветом.

Живу.

Могу все отрицать, могу во всем признаться — в своих грехах и ошибках, в плохих решениях, хороших поступках, в прошлых и будущих заслугах, в происхождении польском. Но ничего из того, что уже произошло, это не изменит. То, что я — поляк, никого не волнует. А хотел бы поездить, хотел бы увидеть Гданьск. Чтобы убедиться, что он, конечно, красивее Риги. Суждено ль?

Не знаю.

Не зря Даугаву называют «рекой судьбы».

Книга улик

СТРАНСТВИЕ ТРЕТЬЕ: *ТОПОС ВЕРЫ*

We who were living are now dying
With a little patience
T. S. Eliot. THE WASTE LAND, V

Мы те что жили теперь умираем
Но осталось недолго
Томас Стернз Элиот. БЕСПЛОДНАЯ ЗЕМЛЯ, V
[пер. Петра Чугайстера]

— ...Двадцать шестого мая сорок четвертого года полторы сотни американских самолетов сбросили свои бомбы. Сначала жужжало, словно бы комар, потом всё сильнее, покуда не заревело, раздирая уши, и весь мир не оглох. Пришел сумрак, солнце заслонили самолеты. Целое небо алюминиевой чешуи, и тут упали первые бомбы. Дым стоял черным столбом.

СТАНИСЛАВ ВИНЯР родился в январе 1932 года в Дрогобыче. Один из главных инициаторов возвращения в 1989 году дрогобычского костела св. Варфоломея римско-католической общине и последующих работ по его восстановлению.

РУКА, НОГА, МОЗГИ НА СТЕНЕ

Экскурсию по костелу он всегда начинает одинаково, вот этими самыми словами: «Меня зовут Станислав Виняр, я родился в январе 1932 года, хвала Господу Иисусу Христу!» Выдерживает краткую паузу — внимательно глядя в глаза посетителей, будто взвешивает, что сегодня рассказывать, а о чем умолчать.

Порой добавляет — родился в Бригидках либо же *на горке*.

[«Дрогобычские Бригидки» (не путать со старейшей львовской тюрьмой в здании монастыря ордена св. Бригиды в районе Городоцкой улицы, «на Грудке») построены в 1911 году, на пологой возвышенности слева от дороги на Трускавец, якобы по печению графини Бригиды, чей муж был убит на этом месте разбойниками — *прим. перев.*]

И чтобы все стало совсем ясно, добавляет еще: «В тюрьме был костелик, церквушка и маленькая синагога, каждый мог по своей вере молиться своему богу. В том костеле я и был окрещен, так захотели родители».

— А наш костел называется «Рука, нога, мозги на стене» [еще одно популярное выражение с *кресовой* родословной — *В.П.*].

Я здесь ключарем.

— «Польмин» [*Polmin*] был самым крупным нефтеперерабатывающим заводом в Дрогобыче. Туда не брали евреев. Польминские ребята — *государственные*, лучшие, они держались особнячком. Поменьше еще были «Дрос» [бывшая «Австрия»], «Йота», «Нафта»... Ну, а евреи — те шли в «Галицию», у них была своя рафинерия.

В паре километров за «Польмином», среди поля, был хутор Марцеполь. Двенадцать изб, одни поляки. Когда в сорок четвертом все съехали, Советы эти выселки снесли, сравняли с землей. И ни следа. Мой дед с этого хутора; умер молодым. В Дрогобыче по понедельникам был «большой» базар, по пятницам «малый». Дед на подводе, в понедельник, а может, в пятницу зашел в корчму, *получил семь ножей*. И всё. Отец мой родился в Марцеполе в девятьсот четвертом, звали его Яков. Отцова сестра, старшая, точно не скажу, но вроде как девяносто шестого, вышла замуж за коменданта, иначе говоря, шефа тюрьмы. После этого родился я. За год до войны переехали в Забже. Мой брат, что младше меня на шесть лет, живет в Латвии. Есть еще сестра, на три года младше.

Латыш, поляк, украинец, чех — если брать по гражданству, то полная мешанка, такое семейство.

— В начале была соль, — сразу же по вступлении начинает рассказывать о соли, о соляных копях; о варницах — солеваренных печах в гербе: соль важнее золота.

— Но еще важнее соли была вода, воды в Дрогобыче вечно не хватало, повсюду одна рапа, солевой раствор. Пить невозможно, воду приходилось довозить от Стрыя. А солеварня дымит до сих пор — раствор соляной гонят по трубам из окрестностей, в трех километрах в сторону Сольца пробурили скважины.

Соль, хлеб, вода — настоящее богатство, на соли вырос Дрогобыч.

— Отец пошел работать в тюрьму «ключником», надзирателем — свояк взял к себе, было ему тогда двадцать с небольшим. Поэтому я родился «на горке». Тюрьму строили австрияки. В школу детей тюремщиков возили на бричке. Еще до войны я кончил три класса в польской школе св. Ядвиги, сопляк такой, было мне девять лет, но в футбол уже играл. Политика меня не касалась, не бегал я за теми, кто кричал: не покупай у жида! Отец брал меня с собой на матчи, когда играл дрогобычский «Юнак». У ограды, через забор, на поле — все орало: *Юнак! Юнак!* Когда же вдруг делалось тихо, то меж трибун пробегала певучая литания торговцев: *селушки, сушки, яичные крендельки наилучшие, орешки...*

Сильнее наших не было — в тридцать восьмом взяли мы Львовскую лигу. Разок только евреи из «Бейтара» нас уделали.

Еще была во Львове украинская команда — «Украина», «Юнак» проиграл дважды. Все были против всех, бросали дымовые шашки, целый город рубился с самим собой... «Польмин» покупал игроков, нам было рукой подать до чемпионата страны [одна из трех команд — «Шленск» [*Силезия*], «Юнак», «Смиглы» — имела шанс в сороковом году перейти в Лигу — *В.П.*]. Но война. Отец работал, кажется, до середины сентября. Затем в один день уволили семерых. Отец имел брата, ветеринара при бойне, вечером пошел к нему с матерью — посидеть, поговорить. Мы, дети, втроем ждали дома. Прочие из тюремной охраны оставались на службе, было их сорок девять — не соврать бы — или даже пятьдесят. Отец, уходя, увидел открытый грузовик, они стояли в кузове на коленях, со скованными за спиной руками, а по углам четыре энкаведиста с винтовками. Одних сразу расстреляли в подвале, других отвезли в Харьков, никто не вернулся. Мать взяла нас за руки, по-тихому вывела из дому, вещи бросили. Отец спрятался, выкопал себе яму, тайник, и так просидел семнадцать месяцев, пока были Советы.

Мы спрашивали — дети же — где, мол, тато?

Нас искали, мы были раз тут, раз в другом доме — у украинцев, у поляков, когда как. Хорошие были соседи, и мы тоже никому зла не делали. Не выдали. Слава Богу, и те семеро уцелели.

— Костел наш прозвали «рука, нога, мозги на стене». Во время строительства на этом месте была обнаружена каменная фигурка

языческого бога. Куски ее вмуровали в наружную стену. Голову, руку, стопу.

Случилось это при короле Ягайле, в 1392 году, — показывает освобожденные из-под слоя штукатурки фрагменты средневековых росписей.

— В сорок первом явились немцы, мой отец вышел из тайника. Были списки. Тех, что пережили Советы — всех семерых — вызвали на работу. Мать сказала: «Иди, коммунистов побили, больше не вернуться». Отворили тюрьму — забирайте, мол, своих. Прежде чем уйти, НКВД избавлялся от политических. В самой тюрьме расстреляли человек двести. Потом за магистратом; тела углем присыпали. Люди ходили, искали. Недели через две тела начали разлагаться, страшный смрад стоял, тогда всех зарыли в одну могилу.

Во время войны закончил еще два класса польской школы.

С евреями немцы сотворили за эти годы страшное. Этот голод, каналы, эти подвалы, смерть. Они говорили — всех нас не могут убить, этого нельзя даже вообразить. Нам казалось тоже, что вообразить нельзя.

Не всякая экскурсия удостоивается показа фресок под сводами костела, изображающих резню поляков: «Случилась в 1648 году такая революция, Хмельницкий ее затеял. Костел — в руины, на

звоннице есть памятная доска. Сегодняшние власти написали: *Крестьяне и казаки разгромили польско-шляхетские войска и освободили город*. Город был беззащитен, всех поубивали. Тех, что спрятались в костеле, похоронили за порогом. Позже над ними поставили часовню, чтобы не топтать их костей».

— В сорок четвертом, в августе, когда никто не ожидал, город не был взят еще, рано утром люди из НКВД забрали отца. Брали также по списку, лишь затем вошла армия. Выслали его в лагерь, в Унжлаг. Под один приговор взяли тысячи людей. Остатки поляков погнали на западные территории, кто мог — уезжал. В костеле не было ксендза, мы туда сами по себе сходились, до тридцатого мая сорок девятого, когда его полностью закрыли и устроили склад. Мы остались: подождать отца — говорила мама. Квартиру с мебелью в Щецине родня держала для нас в течение трех лет, надо было ехать, так сейчас думаю. Было трудно, пошел на черепичную фабрику, при немцах там работала бригада евреев-заключенных. Вечерняя школа, да. Для души одна радость — футбол. Едва кончилась война, мы уже играли улица на улице, потом меня взяли в «Буревестник». Когда пошел на лесопилку, играл за выход во вторую лигу. С местными — с «Нефтяником» и «Спартакон»; продули. В пятидесятом забрали меня в армию, в Минск, играл за армейскую команду. Отыграл, вернулся — спустя четыре года, в декабре: отец уже был дома. До самой пенсии он держался при

лесопилке, чернорабочим. Рассказывать не хотел. «То, что я пережил, знать не нужно. Ты, — говорил, — молод, должен верить в жизнь». Знаю лишь, что везли их морем, умерших бросали за борт. Половина не доехала. Посылки мы слали на город Киров.

Проводит через весь костел до самого пресбитерия, показывает три здоровущих оригинальных доски — из дерева: они сохранились и висят на стенах, судьбы костела на них записаны. Есть и четвертая — такая же огромная, о житии ксендза Мартина Латерна, исповедника Стефана Батория. Шведы отрубили ему руку и утопили в Балтийском море.

— Раньше, чтобы описать историю мученической смерти одного-единственного человека, требовалась цельная такая доска...

— После армии работал автомехаником, но как спортсмен — тогда это по-другому называлось, главный инженер лесопилки собирал футбольную команду, давал хорошую зарплату. Обещал — будет время на тренировки, каждый второй день выходной, профессионалу положено. Жена деда по матери тут осела, фамилия девичья Бибр [*Бобер*], отец ее был чехом, нашел в Польше работу на рафинерии. Погиб во время бомбардировки «Польмина», двадцать шестого мая сорок четвертого года полторы сотни американских самолетов сбросили свои бомбы. Сначала жужжало, словно бы комар, потом всё сильнее, покуда не заревело, раздирая уши, и

весь мир не оглох. Пришел сумрак, солнце заслонили самолеты. Целое небо алюминиевой чешуи, и тут упали первые бомбы. Дым стоял черным столбом. Немцы заперли ворота, если кто хотел убежать — стреляли.

Погибло в «Польмине» чуть более ста, тыща раненых, обгорелых. А на кладбище — почетный караул, «Хайль Гитлер», торжество... В пятьдесят шестом я женился, ближайший действующий костел был в Самборе. Кто бы подумал — комсомолка, бухгалтерша на скотобойне, а венчается в костеле. Два года не забирала свидетельства, звонили ей, мать ее с ума сходила — доиграешься! Делали вид, что не в курсе, власть ко мне добренькой была. Потом стар стал для футбола... Начали строить дом — своим, как говорится, горбом. В пятьдесят седьмом родилась дочь Богуся, Богуслава, медицинский окончила, а четыре года спустя — Адам; зубной врач. Внуки крешенные, по-польски с матерью говорят, а с отцом — по-украински, добрый человек, позволяет. Что им на роду написано — кто ж знает, может, станут рассказывать: жил-был дед, жила-была бабка...

— Костел отстроили заново в начале XVIII века, — остаток своего костельного очерка он излагает, стоя по центру, в проходе между скамьями. — Фрески писал местный художник Анджей Солецкий, на стенах — сцены из жизни Дрогобыча, вся история. А сколько под ними осталось средневековых красот — не ведомо никому.

— Война уравнила всех, перед войной нас было пятнадцать тысяч, евреев столько же, православных — тысяч восемь. Теперь в Дрогобыче восемьдесят с лишним, наших нет и тысячи, евреев с трудом наберется пара сотен — чужих, пришлых из восточных краев. Один лишь остался дрогобычский, довоенный. От нас ничего не зависит, обречены тут на вымирание; должно же оставить по себе хоть какой-то след.

Одно время нельзя было разговаривать по-польски, молиться было негде, отмечать праздники не разрешалось. Обычным делом были внезапные вызовы, срочные задания и комадировки. В Рождество полагалось быть на работе, на Пасху тоже, только в рабочие дни делать было нечего. Жили как первые христиане, собирались тайно, иногда приезжал ксендз, украдкой отправлял на дому службы.

— Когда костел закрыли, завели в нем склад макулатуры [театрального реквизита], принялись всё ломать, витражи разбили, а эскизы для них аж до двадцать третьего года делали ученики Матейко. Красивые были, на самом верху несколько стеклышек уцелело. Орган с тремя мануалами первый секретарь города продал куда-то в Грузию за триста рублей. Пришла зима, был мороз, костел обогревали такими железными буржуйками, в огонь шло все подряд: алтари, иконы, скамейки, исповедальни, бесценные книги из костельной библиотеки жгли. Закоптили своды, фрески почернели.

Уцелели вот эти четыре доски... Под конец сбили штукатурку в пресбитерии, побелили стены и открыли в костеле музей атеизма.

— Если зачесть армию, то полвека я точно отработал, море времени. Пенсию получил 536 гривен, это 100 долларов, более половины сгорает зимой на газу, а и то холодно, ходим по дому в теплой одежде. На свет 40, на воду 30, на телефон 50, на лекарства... не хочется говорить, ей-богу, на лекарства пенсии моей не стать. Но не жалуемся, бывали беды горше. Молодежь бежит в города, деревни пустеют, поля бодяками, осотом заросли. Избы бесхозные, коров повыврезали. Кто пойдет на землю, чего он мотыгой или лопатой сделает? А все дорожает, буханка хлеба... кило сахара... как жить? Костел спасти — только и мыслей-то: тогда что-нибудь останется и по мне.

— В восемьдесят седьмом решили мы бороться за костел, написали сто двадцать четыре письма: в Киев, в Москву. Был у нас еще один костел — *Братьев капуцинов*, в нем Советы проломали потолок, армия держала внизу свою столовую, на втором этаже — клуб. Греко-католики отбили его себе, отремонтировали, и стала церковь. Нам помог ксендз вроцлавский Станислав Драгула — давайте, говорит, ваши письма, доставлю их в Ватикан. В конце года приехал к Святому отцу Горбачев, пообещал отдать костел. Вызвали нас тринадцатого декабря в ратушу, в Дрогобыч

соответствующие бумаги пришли. Они еще по-своему пытались — вы, дескать, с утра службу служите, а вечером у нас там клуб, встречи атеистов. Мы же, как только нам шестнадцатого ключи выдали, сменили замки. Работаем со скрипом, собираем к грошику грош, крышу перекрыли на двести лет вперед, вода на головы не течет, есть где помолиться. Осушили стены, боковые алтари из Кракова привезли, нас горстка всего поляков, человек двести, пенсионеры по большей части, ну так что ж? Ставим перед костелом памятник Папе, как благодетелю нашему [через неполных девять лет, во время Великого поста в марте две тысячи шестнадцатого вандалы отпилят у Папы левую кисть — *В.П.*].

Говорит: «Время от времени размышляю — чьим судом, по чьей воле оставлен я здесь, зачем я, ради чего?»

Показывая на банку для жертвований, завершает одними и теми же словами: «Прошу всех — если можете, помогите, самим нам не справиться, не вернуть блеска былого».

Благодарит всегда одинаково — Бог в помощь, Господу слава, *szcześć Boże*. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Длинные, по самые щиколотки, темно-синие плащи, ряды золоченых пуговиц. Не знаю отчего, но ассоциируются они у меня с женским батальоном, стоявшим на страже у Зимнего дворца. Легенда гласит, что некогда возбужденные, хмельные матросы с «Авроры» положили начало красной революции. Теперь это всего только эпизод в некоторых учебниках истории — *Три цвета: Кровь*.

ФЕЛИКС ПОПЛАВСКИЙ родился 9 декабря 1927 года в деревне Кульшичи, в шести километрах от местечка Ивенец [пос. Ивенец Воложинского р-на]. Краевед, знаток местного фольклора.

БЕЛАРУСЫ, БЕЛОРУСЫ...

...Я также предупрежден, что если эта информация будет признана неверной, виза может быть аннулирована в любой момент — уже под конец остерегает вторая страница визовой анкеты.

Задача сама по себе проста — так думаю, заполняя анкету и перекапывая ящик письменного стола в поисках фотографии. Анкета довольно стандартна, но напрягает четко декларируемое недоброе любопытство. Эти стандартные, в другой какой-нибудь ситуации достаточно невинные вопросы на тему места работы (предприятие, должность, адрес, телефон), на предмет предыдущих визитов, приглашающих лиц, явок, паролей...

Повышенная восприимчивость, чрезмерная впечатлительность (успокаиваю себя), подозрительность — суть первые признаки болезни. Разносчики вируса — медиа, СМИ.

Впрочем, сухость кожи на ладонях остается.

Впрочем — мне нечего скрывать.

Впрочем, все так говорят.

А это уже не может быть правдой.

Тогда я отправился с народным ансамблем, в коллективе, хотел избежать нудной визовой процедуры. Их пригласили — я воспользовался случаем.

В автобусе пространство свободы и неприкосновенности невелико, классовая структура в условиях ограниченной территории текуча и драматична. Есть меньшинство, оно занимает последние ряды и чаще всего мятежно и непокорно. Есть небольшой авангард, сидящий спереди, и большинство, оккупирующее середину. В определенном возрасте интерес к окружающему миру перестает мотивировать, ожидания мутируют, система ценностей тоже.

Похоже, мой психоз недоверия оказался заразным. После пересечения границы все молчали, даже когда Брест остался далеко позади и мы катили по автостраде, построенной к Олимпиаде — в годы, когда лагерь социализма был сплоченным образованием, «братским союзом», и тяготел к овладению вселенной.

Помню долгую очередь на границе, нервозность шоферов, спесь таможенников. Так было *тогда*.

Решил — в этот раз я попробую иначе, перемену план, смешаю карты. Поеду поездом.

Неспешная езда по грани воображения

Поезд провоцирует ностальгию. Напоминает мне старосветский

дилижанс. Эдакое сентиментальное путешествие берегом хроноса, по краю воображения...

Это экстравагантность — настолько неспешная езда (всё медленнее идут вагоны), — сегодня, когда технологи современности покорили пространство. Расстояния перестали быть проблемой. Проблемы — в различиях систем, культур, религий, идеологий. Сквозь их призмы физическая неудаленность не так важна.

Вокзал Варшава-Западная [«Заходня»], ночь, холодно, я один на пустом перроне. У каждого вагона — по молодой женщине в железнодорожной форме. Длинные, по самые щиколотки, темно-синие плащи, ряды золоченых пуговиц. Не знаю отчего, но ассоциируются они у меня с женским батальоном, стоявшим на страже у Зимнего дворца. Легенда гласит, что некогда возбужденные, хмельные матросы с «Авроры» положили начало красной революции. Теперь это всего только эпизод в некоторых учебниках истории — *Три цвета: Кровь*.

Миграционная карта — раз.

Таможенная декларация на серой газетной бумаге — два.

Сначала валюта, ценности, драгоценности. В последующих графах — оружие, наркотики, произведения искусства, книги, носители информации, яды, радиоактивные... взрывоопасные... высокочастотные... [ср.: «сведения о владельце наличных денежных средств и (или) денежных инструментов — указываются, если декларант не является собственником... сведения о предполагаемом

использовании наличных денежных средств и (или) денежных инструментов...»]. Спецификация опасностей, от которых органы оберегают своих граждан.

— Не стоит, не затрудняй жизнь себе и другим, — сосед с нижней полки бесцеремонно комкает мою декларацию.

— Ничего нет, ничего не провозим, — клянется, хотя только что сунул под одеяло завернутый в полотенце ноутбук.

— Так нельзя, есть закон, есть правила... — ему с верхней полки выговаривает, когда таможенники уже вышли, постоянно проживающий в Польше белорус.

Каждому по заслугам. Тогда

Помню, как листал путеводитель: плотность населения — сорок девять на квадратный, леса, торфяники, небольшие залежи газа, на этом природные богатства Беларуси заканчиваются. Пейзаж за окном соответствовал. Сосновый лес, как в сказке, казался бесконечным. А когда заканчивался, начиналась бесконечная пашня. Когда бы не полосы кукурузы, не протектор, сорвавшийся с тракторного колеса, подумал бы, что мы перемещаемся по безлюдным районам необитаемых земель. Порядок. Трава скошена — порядок; на обочине, в канаве — порядок; на лесных стоянках пусто, чисто — порядок. Побеленная известью эрратика, покрытая режущими глаз рисунками животных, напоминает детскую имитацию опрятности, впрочем — порядок, порядок и еще раз...

Наивысшая точка Белоруссии — 345 метров над уровнем моря — называется Дзержинской горой.

— И что вам, полякам, не нравится, он же сородич ваш?

Точно так. Говорят, каждый народ имеет тех вождей и тех героев, которых он заслуживает. И, кажется, закон этот имеет универсальную обратную силу.

На поверхности сна... стук. Теперь

Поезд. В ночном поезде лучи лампы очерчивают границу света и тени, данных пассажирам во временное пользование. Снаружи — чернота, выключенное пространство. Внутри — блеклый круг движения разговора.

— Мать моя полячка, из Древецких, отец русский, — начинает заполнять словами минуты сосед с верхней полки. — Моя мама из старопольской фамилии Древецких, отца встретила в лагере, в Могилеве. Он был ростовским казаком, их переселили в Донецк, рубил уголь в штольне, потому что казачество запретили. Он ей понравился, попросила деда, тот выкупил отца у немецкого офицера за *лукошко* с яйцами. Немец только: «Мало яйца, мало яйца», — слова сплетаются с настойчивым перестуком колес, стоном тормозных колодок, писком дергающихся дверей.

— Отец не захотел в синие полицаи [*Granatowa policja*], ушел в лес, в красные партизаны. Дед Древецкий помер в девяносто восемь лет, под два метра ростом, в царской армии был

гренадером... — вызванный воображением образ расплывается, наступает мрак, лишь стук колес по поверхности сна... стук.

Маша молится за нас. Тогда

Тем разом ночевали в Барановичах. Гостевой дом монастыря — а оттуда беглый вечерний выезд в Заосье: наверстать время. Быть рядом — и не побывать... Усадьба, лежащая среди беспредельных полей, заперта. Кто тут так поздно? Впрочем, сторож соглашается привязать собак: «Можете осмотреть снаружи». Типичная изба — белорусская, длинная, приземистая, с соломенной крышей.

— Открыто недавно, в девяносто шестом, почти новая, — сторож подкупающе откровенен. — Ничего тут не было, все построили на моих глазах.

Но лут, над которым понемногу сгущается сумрак, но это вечернее светило... и всеобъемлющая тишина. Колодезный журавль, задевающий звезды...

— Ох, какая же Телимена... — искушает кто-то.

— Э, *Мадонна* — прежде всего *ласка*...

Возвращаемся в Барановичи. Послушниц в монастыре десятка полтора, взгляды внимательны, интересуются всем, что касается ансамбля, костюмов, одежды, белья, косметики. Опускают глаза.

— По большей части белоруски... — старшая сестра комментирует. — Привыкли к гостям из Польши. Маша!.. Ах, что за егза, — одергивает одну из послушниц.

— Безопасности ради, — продолжает, — просим не покидать территории гостевого дома. Груша зарегистрирована в милиции, ворота запираем в девять часов.

Машины очи прекрасны и туманны. По-нашему — Марыся. Марыля (сказал бы пан Адам).

Маша молится за нас. В наказание.

Минск в декабре или «пусть бегут неуклюже». Теперь
«Чай или кофе?» — вопрос утонул в скрипе энергично открываемых дверей, репродуктор выдал бравурный наигрыш, «доброго утра». Город встречал нас дождем, хотя декабрю больше пристал снег, не говоря уже о морозе (и о медведях на улицах): привычные стереотипы смещены в сторону трансцендента под влиянием случайных попутчиков. Хлюп-хлюп ошметками льда на перроне, лестница вниз, длинный тоннель, лестница вверх и внезапно: — ошеломительно современный со всех сторон и каждым своим сантиметром к небу вдоль и поперек железнодорожный вокзал. Сквозь тонированные стекла несмело заглядывает первое солнце. Врата Минска увиты нежной вуалью дымки: это оттаивали стены соцреалистических небоскребов напротив вокзала.

Ивенец, францисканцы, колокол. Тогда
Именно это местечко на рубеже Налибокской пуши, корнями уходящее в пятнадцатый век, было целью нашего путешествия. В

1702 году минский стольник Теодор Ванькович позвал в Ивенец братьев-францисканцев, а те сперва построили деревянный храм, затем — на подаяния и пожертвования — возвели каменные здания монастыря и костела. Началась история колокола, точнее, колоколов. После Ноябрьского восстания монастырь был закрыт и превращен в пансионат для престарелых священников. После Январского восстания храм Михаила Архангела был закрыт, а в 1869 году передан православному приходу. В начале восьмидесятых на башни надели луковичные купола. В начале двадцатых годов двадцатого века Ивенец вернулся в Польшу, между ним и Заславлем прошла граница *неподлеглой* Польши с Россией большевиков. С башен сняли луковички. В тридцать пятом на средства, собранные рядовыми, унтер-офицерами и офицерами Корпуса охраны пограничной (КОП), отлили новый колокол — взамен реквизированных в семнадцатом. Колокол был посвящен памяти маршалка Юзефа Пилсудского и призывал архангела Михаила *хранить нас в борьбе с силами тьмы*. Между сорок третьим и сорок четвертым — свидетельства расходятся — по невыясненным причинам (свидетельства также расходятся) «колокол Маршалка» весом в тысячу двести шестьдесят килограммов исчез.

Прогулка по Минску. Тогда и теперь

...В мыслях об Ивенце. В целом Минск поражает. Начинается без предупреждения и так же заканчивается. Поле — и вдруг спальный

район из панельных девятиэтажек длиной едва ли не в километр. Субботний полдень, но город кажется пустым, он объят ладом и порядком — тем самым, что царствовал на парковках в лесу, отмерен идеальной мерой вне связей и отношений с реальностью. Похоже, два миллиона жителей просто воспользовались возможностью зарыться в свои бетонные клетки в ожидании понедельника. Мы останавливаемся перед памятником Мицкевичу. Скамейки вокруг пустеют. Кажется, муравьи обглодали мясо этого города да самых камней... Впрочем, правда скрыта в деталях, детали — скрыты. Над Свислочью кучкуется молодежь, демонстрирует свою инаковость. К церкви на центральном бульваре подъезжают машины молодоженов. Очевидно, верят во что-то.

Михайлов день. Теперь и тогда

Хотя торжества по случаю освящения найденного колокола запланированы на вторую половину дня 29 сентября 2006 года, с раннего утра собираются толпы.

Францисканцы были упрямы — и сегодня жители Ивенца почти сплошь католики. Можно сказать, выстояли. Пережили. Вижу на лицах слезы...

Хорошо, что погода хороша.

Появляются первые машины с дипломатическими номерами. Прошло полчаса, официальные приветствия длятся. Женщины в народных костюмах переступают с ноги на ногу — холодно.

Начинается служба, проповедь на двух языках: по протоколу. Заканчивается... Первый удар как бы спрессован, смазан временем, звук трудно отражается от монастырских стен, возвращается, но второй уже находит волной, вибрирует, наконец третий, четвертый зовет, растет, набирает силу, бьет в небо.

Колокол.

— Чудо, шестьдесят лет пролежал в земле, чудом отыскали под левой башней, выкопали, подняли, чудо!

— Наверное, никого из тех, кто его прятал, в живых-то нету...

— За них помолимся, — говорит отец Лех, настоятель францисканского монастыря.

С точки зрения соседних Кульшиич. Теперь

— Помню, как освящали колокол в тридцать пятом году, мне было семь, я учился в первом классе. Семья из поколения в поколение жила в Кульшичах. Здесь родился в 1891 году мой отец, в 1900 году родилась моя мать. Я родился в двадцать седьмом, только у них это была Россия, ну а я — в Польше (Ивенецкая гмина, Воложинский повят, Новогрудское воеводство).

— Феликс Пошлавский меня зовут, — говорит он, наблюдая за редкими снежинками, — самый старый след, до которого я смог добраться, это бумага 1861 года о праве моего деда на владение *влукой* земли [одна «влука» равна примерно семнадцати гектарам — *В.П.*].

В нашей деревне была четырехлетняя школа. Родителей, чьи дети не ходили в класс, наказывали — это назвалось «школьной повинностью». Соседка-вдова просидела неделю в волости под арестом. Тех, кто не хотел учиться, родили на аркане тащили в школу. Преподавал в ней Мариан Шахович, подпоручик запаса, тринадцатого года рождения. После войны я хотел его найти. Он убедил моих родителей отдать меня в семилетку, но в Ивенце я проучился лишь год — пришли Советы. За ними — немцы. Потом вернулась Красная армия. Кажется, колокола пропали при красных, при немцах висели еще... В подземельях костела складировали топливо, смазку, в главном нефе стояли токарные станки, на них для минского тракторного завода [Минский ПКТИ — В.П.] точили детали.

Учитель из Радома. Отчет Феликса Поплавского

— Что касается Мариана Шаховича, то я расспрашивал людей, писал в инстанции, пробовал так и этак, но что может Феликс Поплавский, маленький человек? Знаю, что родился он в Радоме 2 февраля 1913 года, окончил учительскую семинарию в Слониме и что в тридцать третьем попал в нашу деревню.

Когда он шел, все с ним здоровались, такой был респект. До мозга костей — воин.

Знаю, что в тридцать седьмом году окончил курсы резервистов и получил назначение. На случай войны имел мобилизационное

предписание — как и его старший брат Зигмунд — в 72-й пехотный полк им. Дионисия Чаховского, в Радом.

Когда война началась, он пришел в школу попрощаться. Предписание заменили, он оставался в КОП «Ивенец». *Еще не окончена война*, — так сказал пану Пиларскому, майору Великой войны, еще из легионеров. Это было семнадцатого сентября, в тот день, когда большевики пересекли границу. В окрестностях Лиды пограничников разоружили и взяли в плен.

Последнее, что я слышал о нем — слова местного портного, унтер-офицера запаса. Их везли в лагерь, поезд остановился на станции Молодечно. Выломали доски в полу вагона. «Давай, бежим!» — «Бегите. Я — нет, война продолжается, за это пулю в лоб», — так отвечал Шахович.

Война еще не окончена.

— Знаю, что в лагере нашел брата Зигмунда. В «Кладбищенской книге» [Księga Cmentarna] есть фотографии. Знаю, везли их в Катынь... Если вдруг что, вдруг кто — в Радоме, — прошу передать: один ученик из Кульшич помнит своего учителя.

Деньги — это всё и не всё. Тогда

— Все-таки нужно где-то поменять доллары, попробовать эту Беларусь на вкус, — упорствует большинство, представляющее центральную часть автобуса. — Хотя бы пива или водки, или же шоколада...

Почему Ивенец? Теперь

Зима без снега: временный недостаток, лишаящий январь его габитуса — сугробов, снежных шапок, узоров на стекле, — не искажает образа Ивенца. Ничего не случилось, серый свет, повседневность, тишина, усредненность. А в календаре за тридцать первый год — пятьсот с лишком деревянных домов и десять каменных, почта, госпиталь, аптека, городской сад, дом офицера, костел св. Михаила, церковь, еврейский общинный дом, бойня, мельницы, кирпичные заводы, река... Целых две гостиницы, кинотеатр *Аврора* [Jutrzenka] и полевой аэродром. Не говоря уже о ресторанах, электрическом освещении (и мощных улицах).

Война поверила Ивенец, сняла пробу, избавила от иллюзий, смешала пропорции добра и зла. 19 июня 1943 года польские партизаны отряда им. Тадеуша Костюшки по сигналу «колокола Маршалка» захватили местечко, разбив немецкий гарнизон. На сторону партизан перешла синяя полиция, отрядом командовал поручик Каспер «Левальд» Милошевский. Левальд сформировал отряд в ответ на массовое убийство поляков — советскими партизанами и бежавшими из окрестных гетто евреями в Налибокской пуше в ночь на 8 мая 1943 года. Он пользовался относительным доверием советских партизан, в силу чего стали возможны восемнадцать часов относительной свободы, позднее названные «ивенецким восстанием». В ответ на восстание немцы 20 июня расстреляли около ста пятидесяти жителей Ивенца, а 13 июля

начали операцию «Герман», приведшую к уничтожению шестидесяти деревень и созданию десятикилометровой полосы *выжженной земли* вокруг пуши. Складывается ли все в одну картинку?

Ходьба по канату. Тогда

Тогда, под самый конец, нас завезли в Несвиж — родовую резиденцию Радзивиллов. В криптах костела Тела Господня ряды гробов: прах магнатов. Все одинаковы, сбиты из простых березовых досок, выкрашены темным махагоном, старой доброй половой краской. Гробов больше ста. Тесно.

— Обвязаны проволокой и опломбированы, закрыты, — поясняет пробош. — Они двойные, те, что внутри — из жести.

Изучаю ржавую проволоку, дужку примитивного навесного замка. В краю, где в школах родной язык с удовольствием заменяют русским, растворяя в нем собственную идентичность, вопросы множатся как на дрожжах.

— Жизнь выкидывает сложные коленца, кто знает, куда заведет, — шепот у меня за плечами.

— Надо же во что-то верить, иначе все пойдет в задницу, — громко сообщает другой голос.

— Это ходьба по канату, *проше паньства*, имеет место быть.

Сначала это будет мода, потом страсть... Теперь

Ивенец — это поселок городского типа. Особый мир мелкого

городка, выдавленного войной и новым порядком на обочину жизни, обнажает правила и закономерности государственного мироустройства. Всё как на ладони. Все пятьдесят лет Ивенец продолжал существовать. Перемены носили внешний характер, затрагивали административную поверхность бытия, символику, терминологию. Сменялись лозунги, названия ведомств, назначение зданий. Ивенец даже обрел музей Феликса Дзержинского с филиалом в Дзержинове, что неподалеку (с января две тысячи шестого — Ивенецкий музей традиционной культуры). Камни, которыми перед войной мостили улицы, утонули под слоем асфальта, над ними высится бетонированное жилье. И ничего сверх, даже когда настали независимость и свобода — ничего. Но во что-то надо верить, чего-то надо ждать. Всему свое время.

Впрочем, от свободы, опрометчиво дарованной людям, еще в 1811 году остерегал властителей сардинский посланник при дворе Александра I: «...Сначала это будет мода, потом страсть и, наконец, бешенство. <...> Свобода действует на такие натуры как крепкое вино, ударяющее в голову человека, к нему непривычного» (Жозеф де Местр, пер. Д. В. Соловьева).

Согласно мифу, стада синих коров, живущих в море, принадлежали *Jūras māte* (Матери моря). Перед восходом солнца они, случалось, выходили на берег, чтобы попасть на прибрежных лугах и песчаных дюнах. Однажды, во время сильного шторма, погибло много рыбаков, вышедших в море, и Юрас мате подарила вдовам своих коров, чтобы те могли выкормить осиротевших детей.

ВИКТОР БАГЕНСКИЙ родился там, где вода в море чистая, трава зеленая, а коровы — голубые. Руководитель лаборатории радиоэлектроники в Вентспилсском Доме творчества.

ЛАТВИЙСКАЯ СИНЯЯ

Мерка для поляка

— Территория Латвии составляет 64 589 квадратных километров, на каждый из которых приходится чуть меньше одного среднестатистического поляка, то есть, латвийца польского происхождения, за год провожу 0,5 среднестатистических экскурсий по городу, поскольку сюда примерно раз в два года приезжает организованная польская группа, — неуверенно шутит Виктор, провожая меня к *Виндавскому* замку, крупнейшему орденскому замку на вышеупомянутой территории, построенному в XIII веке. Идем по улице Пилс, по-латышски «Замковой», и фасады домов, построенных на переломе XIX и XX столетий в стиле югенд, намекают на то, что не так давно здесь проходила центральная артерия города.

— Не существует единой мерки для латвийских поляков, — отгоняет рукой какую-то назойливую мысль, — относятся к разным категориям. Скажем, первая — это потомки тех, кто селился здесь с шестнадцатого века по начало двадцатого. Вросли в Латвию,

говорят на госязыке, из поколения в поколение передавая свой, польский, и свою, польскую, традицию. Они неизлечимо больны, болезнь их называется Польшей, они в нее никогда не вернуться и знают это, ибо некуда, да и незачем. Вторая категория — потомки сезонных работников. Дешевая рабсила, что от войны до войны лилась потоком из польской деревни на здешние хутора. Среднестатистический мужчина в двадцать шестом году зарабатывал за сезон 563 лата, среднестатистическая женщина — 369, при курсе злота 2 к 1 тоже неплохой заработок. По-латышски ни в зуб ногой, польский с грехом пополам. Война ушла, а они остались, почти двадцать шесть тысяч. Тело в Латвии, голова — в Польше, жили одним днем, через гены завещали это своим потомкам. Верят в чудо, хотят вернуться, а кто их вернет? Третьи во время хрущевской оттепели приехали из Белоруссии, с Украины: одним словом, *Кресы*. Ни польского, ни латышского, зато ходят в костел, считают себя поляками. Руками и ногами в России, и даже Польша их не в Польше, а где-то еще.

— А меня тут каждая собака знает, родился в Вентспилсе, учился в латышской школе, — я так и не успеваю спросить, по какой из категорий проходит лично он. — Должно быть, умру здесь. Дочь в Голландии (муж поляк), сын в Англии. К гадалке не ходи...

Справы приватные

— Так живу, а раз — слава богу — живу, должны у меня иметься

какие-то предки. Мама родилась в девятнадцатом году где-то в Латгалии. Отец — я узнал лишь в прошлом году, мой сын отыскивал его метрику, — Лондон, 29 декабря 1920 года. Дед, Стефан Язеп Багенский, владел полусотней гектаров земли возле Лубанского озера и не верил в то, что русские женщины — самые красивые. Перед войной в качестве чиновника от Министерства земледелия отправился на выставку в Англию, где познакомился с панной Маргарет Кэмпбелл из Шотландии, секретаршей на фирме, производившей двигатели для тракторов. Дальше — меньше неожиданностей: сначала влюбился, потом женился, церемония прошла в британском посольстве в Петербурге. Кто скажет, правда ли? Перед Второй мировой, а может, сразу после прихода коммунистов дед развелся с бабкой, считалось, что она забрала сына с собой в Англию. На самом деле — обосновалась в Резекне и тайно переписывалась с дедом. Дедушка умер в сорок восьмом, похоронен в местечке Нагли. Об отце его, моем прадеде, известно и того меньше. Родился в Резекне — в Режице Витебской губернии, молодым человеком жил в Варшаве на улице Хмельной, в восьмидесятых я был в Варшаве, дом — тот, из документов — стоит: лестница старая, деревянная. Но вправду ли тот или выстроен после войны? И что дед там делал — вопрос! Будь я фанатом фантастики, предположил бы, что изучал медицину, поскольку в одном музее в Риге я видел диплом, выданный на его имя и его фамилию. А так — конец, точка: всё.

Запретная зона на краю земли

— Хочешь вспомнить фильмы про аборигенов в заповедниках, — посоветовал мне Виктор, — выберись на Колку.

...Одиноким зуб суши врезан в массу вод: лунный ландшафт — независимо от сезона. По правую руку ветер гонит вдоль берега голубые волны Балтийского моря, не смешивая их с плотно-зелеными барашками с пастбищ Рижского залива по левую. Линия, на которой они схлестывается, кипит, но стойко упирается в горизонт.

— Колка — место, где действуют разного рода аномалии, там ты физически ощущаешь земной магнетизм, неизученные силы природы. В советское время берег считался госграницей, требовались пропуска. Часть коренных жителей выселили, остальных, живущих главным образом с рыбы, отрезали от моря. В лесах понастроили секретных объектов — главным образом радиотелескопы, — со страстью записного экскурсовода увещал Виктор.

...Коренные жители — одна из самых мелких народностей на земле, ливы, — практически ассимилированы *балтами* и превращены в так называемых латышей (к которым по факту отнесены и латгальцы). Советская власть помогла процессу одичания *Ливского берега* чем могла. Язык исчез из оборота, но поддерживается искусственно группой энтузиастов. Тем не менее, присутствуя, как и латгальский, в словарном запасе латышского, он так или иначе остается фактором местной культуры.

— В первую субботу августа в Мазирбе проходит национальный праздник: жители двенадцати ливских деревень надевают народные костюмы и поют старинные песни...

Два телескопа («Сатурн» и «Плутон» станции космической разведки «Звезда») уцелели, хотя их и планировали взорвать, когда армия покидала Латвию. «Сатурн»: диаметр антенны тридцать два метра, восьмое чудо света. Неигрушечная чаша на фоне марсианского неба соответствует, пожалуй, только масштабу моря. Рядом — закрытый городок Ирбене на две тысячи жителей, включая гарнизон, с полным социальным обеспечением: магазинами, домом культуры, школой, детским садом, кино. Наверное, так может выглядеть цивилизация после катаклизма: черные глазницы окон в заброшенных хрущобах, зарастающие деревьями дороги. *Пролетарии всех стран, соединяйтесь!* В углу, по-видимому, гостиной на последнем этаже панельного тупа нахожу газету «Советская Вента», понедельник 23 февраля 1981 года, цена 2 копейки, выходит с 29 июня 1940 года. Стихотворение с первой полосы: «Партии задание — народ вести к победе, огонь, зажженный Лениным, нести как эстафету...», — и что-то еще про *из поколения в поколение*, автор — Андрейс Балодис.

Kūolka — мыс Колка — он же *Домеснес* — Колкасрагс: не то «быстрая смерть» (на языке ливов), не то «острый угол», где в течение суток можно наблюдать как морской рассвет, так и морской закат...

Написанное на роду

— Вентспилс — самый северный наш транзитный порт, не замерзающий зимой. Бывало, по несколько судов в день подходили за нефтью, удобрениями, углем, на рейде были очереди. Сейчас карабкаемся из кризиса, добро, если пара кораблей за неделю. Правда, строим новые терминалы — соки, химия, — разводной мост... — тень горечи в голосе Виктора при нашей первой встрече. Вентспилс пленяет сочетанием авангардной застройки и старых, низких деревянных домиков — и то, и другое словно бы взято из какой-то жанровой игры для компьютера. Световые эффекты, отражения в зеркальных стеклах — медленных туч, шустрых яхт и могучих паромов, с высоты несколько этажей нависающих над красными черепичными крышами вдоль канала, — и узкие улочки в брусчатке, вернее, в обыкновенных булыжниках, темнеющие рыбачьи халупы, едва уловимый запах копченой рыбы.

— Говорят, кому на роду... — в ответ на мой вопрос, отчего именно Вентспилс. — Отец закончил польскую школу в Резекне в сорок первом, познакомился с моей мамой, тогда она уже жила в Даугавпилсе. Наутро после выпускного бала Гитлер напал на Россию. Будущий тесть устроил его в путейцы, в сорок третьем году женились. Конец войны застал их в Курземе, отец получил работу, получил квартиру в Вентспилсе. Так по-тихому дошло дело и до меня, — улыбается, ища по карманам спички. — Ничто не бывает только хорошим или плохим, разве что курение.

Совсем другая история

...Берет начало в царское время: в Лужках, в нынешней Белоруссии. Прадед имел пятерых сыновей, работы-земли на всех не хватило, сестра деда втянула его в заговор, пришлось убежать. Дед в Норвегию через Швецию, бабка через Одессу, через Германию... Как бы то ни было, в Осло поженились, родились первые дети. Закончилась Первая мировая, дед решил вернуться. Как бы то ни было, мама моя родилась в Ростове, Лужки оказались в Польше. Дед сохранил симпатию к коммунизму, верил в равенство и братство. Столь сильно верил, что в двадцать четвертом году осел в Петрограде, чтобы растить своих детей в коммунистическом раю. Разочаровался быстро, решил бежать, но не успел — в двадцать шестом умер от сердечного приступа. Бабка с тремя детьми выжила в войну, пережила блокаду. Валерия, моя мать, вышла замуж за морского офицера, сына бывшего царского инспектора в Польше. Я родилась 7 октября 1945 года в Ленинграде, в праздник Девы Марии — *Царицы Розария*, — спокойно, старательно подыскивая слова, делится своей историей пани Хелена, жена Виктора.

— Лужки опять сделались нашими, мы проводили в них лето, на зиму возвращались. Из дома в школу, от дома к костелу. Когда мне было четырнадцать, родители развелись, мама — техник-чертежник — бросила всё и переехала в Ригу. Нам указали на церковь Скорбящей Богоматери, вокруг которой объединялись поляки. В шестьдесят третьем я сдавала на полонистику, в Вильнюсский

педагогический. Из двадцати пяти двое «из-за границы»: девушка из Львова и я. Декан — проф. Владимир Четет, кафедрой заведовал проф. Геннадий Ракитский: атмосфера была домашней, дружественной. Параллельно на физмате существовала польская группа. Нам повезло, в шестьдесят девятом польскую филологию закрыли, язык отдали факультету языков. По распределению я вернулась в Ригу, никто нигде не хотел меня брать. Я даже получила права на вождение троллейбуса, но устроилась киномехаником в кинотеатр «Тейка». Проработала девятнадцать лет.

Сосиски и статистика

Воскресным утром в восемь утра город более чем безлюден: по улицам шляются коты, фонтаны распыляют водную пелену, надрываются чайки. Со стороны порта слышан клекот толкущихся вагонов. В поисках церкви Св. Креста блуждаю по улицам, спросить некого, к счастью, я обладаю картой.

— Коммунизма в Польше было что мяса в сосиске. Костел жил, как хотел, — рассуждает Виктор. — Здесь иначе, но стереотип *пОляк-католик* [с ударением на первое «о»] действует. Для них в костеле в девять утра польская служба. До войны перепись давала сто двадцать три латыша польского происхождения, теперь вместе с новоприбывшими нас около пятисот. Ну, увидишь.

На лавках пожилые женщины, ветхие плащи, немодные прически, чуть больше восьмидесяти старше шестидесяти. Мужчин

четверо. Молодежь: девица лет восемнадцати и с ней — парень. Пять человек продуктивного, прошу прощения, возраста. Упрощенная статистика момента. Польские молитвы, русская проповедь. «А что делать? — разводит руками ксендз в белоснежном облачении паулина. — Знающих польский можно по пальцам считать».

— ...У евангелистов около тысячи душ, у прочих православных, католиков, баптистов — еще тысяча. Пусть всего три тысячи. Население Вентспилса — плюс-минус сорок тысяч. Как зовут того бога, что властвует над душами тридцати с лишним тысяч?

Налетчица и ковбой

— После средней школы я поехал в Ригу, изучать радиоэлектронику, но молодые мыслят по-молодому, учебы не кончил, пошел работать на наисовременнейший в СССР завод полупроводниковых приборов [ПО «Альфа», разрушен новой властью на рубеже нового века — *В.П.*], — не слишком охотно возвращается к временам своей молодости. — Поляки держались вместе, сначала под вывеской Общества польско-советской дружбы, с семьдесят восьмого — в клубе «Полонез» в Доме культуры строителей. Жену встретил на балу в 1980 году, была наряжена налетчицей, я — ковбоем. В 1982 году расписались, через два года я получил наследство — квартиру в Вентспилсе. После двенадцати лет на «Альфе» начал заново, на вентиляторном заводе. В свободное

время подрабатывал инструктором в радиотехническом кружке: кружков в Латвии — моделирование, фото, танцы — всем хватало. В восемьдесят восьмом образовался Союз поляков Латвии. Для председателя Иты Козакевич не было миссий невыполнимых. Учителя еще не доехали от Варшавы до Риги, а в Пурвциемсе уже открылась польская школа. В первый месяц занятия по языку вела моя жена... У нас тоже был энтузиазм, в девяносто девятом я провел первую встречу *поляков в Виндаве*, мы учили язык, собирали подписи, город дал нам место. Много чего можно было сделать, но одни боялись, другие хотели нажиться, тем временем Польша теряла свою привлекательность: для детей и родителей открывались Англия, Ирландия, Испания... Людей становилось меньше, проблем больше, фирмы разорялись. Пришла безработица, наступил долгожданный капитализм, а с ним — и Евросоюз.

Парад коров

Коровы! Весной две тысячи второго Вентспилс открыл посреди города — между каналом и мрачными кирпичными трехэтажками — луговой выпас. Двадцать шесть стекловолоконных красавиц приняли участие в *Cow Parade Ventspils*. Шестеро поселились в городе: *Корабль идет*, *Жизнь прекрасна*, *Ms. Moo-Dunk*, *Карма*, *Латвийская черная*, ошибочно именуемая «Нефтью», и собственно *Нефть*. Десять лет спустя коровы массово вернулись — и остались. Среди них гиганты 7 на 4 метра: «Корова-матрос» в шапочке

с помпоном, «Цветочная буренка» в живых цветах и «Корова-путешественница» в наклейках. «Абсолютно первая корова и ее теленок» предстали в образе темно-зеленых динозаврицы и динозавренюша. Наряду с ними пасутся настоящие коровы, в том числе голубые [Latvian blue], с абсолютно другой родословной.

Согласно мифу, стада синих коров, живущих в море, принадлежали *Jūras māte* (Матери моря). Перед восходом солнца они, случалось, выходили на берег, чтобы поpastись на прибрежных лугах и песчаных дюнах. Однажды, во время сильного шторма, погибло много рыбаков, вышедших в море, и Юрас мате подарила вдовам своих коров, чтобы те могли выкормить осиротевших детей. По другой версии коровы сбежали от Девы моря (*Jūras meita*) и были приватизированы хитрыми ливами как особо устойчивая к погодным условиям и болезням порода.

— Кроме порта, Вентспилс ставит на туристов, — Виктор обращает мое внимание на библиотеку двадцать второго века, на олимпийскую деревню, на невероятные фонтаны и коллекцию судовых якорей в городском парке, по которому пробегает столетняя узкоколейка, узким молотом сквозь оцепление железобетонных тетраподов ведет меня на маяк: — На шаг впереди конкурентов. А то и на два. Важно, чтобы, уезжая, ты верил: синяя корова приносит счастье...

Книга чисел

СТРАНСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: *ΤΟΠΟΣ ΖΑΚΛΥΤΙΪ*

Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθήμενου ἐπὶ τοῦ θρόνου
βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν,
κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτὰ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του Ιωάννη 5:1

И видел я в деснице у Сидящего на престоле
книгу, написанную внутри и отвне,
запечатанную семью печатями.
ОТКРОВЕНИЕ Иоанна Богослова 5:1
[Синодальный перевод]

Выходы были в торцах, два. Нас заперли внутри, я точно помню дату — пятого марта пятьдесят третьего года, — и держали так две недели. Не знали, как дальше будет. *Na robotu nie pajdiom, Stalin padoch*, — сказал охранник. Только «параши», такие переносные туалеты, опорожнить позволяли. У мужчин в бараках начались драки: уголовники с политическими.

МАРИЯ ШЕГДА родилась 27 апреля 1925 года в деревне Чекно под Луцком. В 1940 году одновременно с родителями депортирована: она в Сибирь, они — в Архангельскую область. Осуждена на пятнадцать лет колонии строгого режима. Вернулась в Польшу в 1957 году.

МЫ ИЗ ВОРКУТЫ

(Не хотела называть ни имени, ни фамилии. Да кому это нужно?

Не хотела, чтобы кто-то узнал, что прошла через это пекло.

«Человек к любым приспосабливается условиям.

Строит свой мир вокруг себя.

И уже проще».

Не хотела помнить, как это было.

Ведь можно и в пекле жить).

Если не подводит меня память, так помнится мне, что вывезли нас 10 или 12 февраля. Отец в последний момент порывался забить свинью, чтобы взять каплю еды на дорогу. Его звали Мацей, маму же Ефросинья. Жили в Чекне под Луцком, родители мои поставили там дом. Въехали в него в тридцать пятом году, это крепко засело у меня в голову — в тот год умер маршал Юзеф Пилсудский. Отец был солтысом, одевался по-пански, для работы в саду надевал перчатки. Пахотный надел был добрым, а еще на берегу

Стыра пользовались лугом. Кони, коровы, телега, инвентарь по хозяйству — всего хватало. Родные и соседи помогали.

Никого больше нет. Ничего не осталось от фамилии *Шлихты*. Да и нет нужды вспоминать.

В Чекне украинцы и поляки жили вместе. Посередине деревни шла центральная улица, от нее отходили две боковых. Ближайшая школа — в селе Яловичи, четырехлетка. Зимой в школу возили на санях, давали подводу: раз они, раз мы. Проблем не было. Был магазин, торговали в нем евреи. Была и усадьба, в усадьбе жил полковник, с ним у родителей моих была приятельность...

Я помню красивые липы вокруг усадьбы.

Полковника с семьей и часть наших колонистов [«осадников»], тех, кто жил ближе к Стыру, вывезли раньше. Наша очередь пришла со второго захода. Вывозить — *дом под серебром* — кулак, а дом был крыт оцинкованной жстью. Засыпать колодец — кулацкий. Пока не выкопали нового, весь хутор ездил по воду к реке.

Родителей увезли в Шокшу, рубить лес под Архангельском. Меня же врозь, поехала в лагерь в Воркуту. Товарный поезд, в котором нас везли, неделями стоял на запасных путях. Тронулись мы весной, добрались к концу лета. Что на ком было надето — вот в том. Телогрейки, валенки — это выдали уже в лагере. По дороге кто-то родился, ведь ехали с нами женщины в положении, а кто-то

заболел, умер... Многие не доехали до лагеря. *Па-а-дъем*, расчет, ночь, проверка. Отчего нам было так смешно тогда — не понимаю. Молодые были, настолько все казалось глупым, что аж смешно.

Одни вагоны для женщин, другие для мужчин, за нарушения карали сурово. Но уже на месте, когда доехали, пока не поставили барачков — спали вместе: мужчины слева, женщины справа. Близилась зима, одни подгоняли других, сами себе лагерь строили. Кусок хлеба вызывал больший интерес, чем голая девушка. Срока были разными: от десяти, пятнадцати лет и до двадцати. Искали шпионов, люди признавались во всем. Вырывали ногти, раздавливали пальцы, за гранью терпения как останешься разумным?

...Номер нашивали на *бушлат*, на шапку, на штаны — на колено. Не хочу помнить, хоть и снится он мне по ночам. Самые слабые работали наверху, в лагере, сильнейшие — на шахте. На воротах делили по номерам. Зимой шли в туннеле из снега, на лопате санной колеей съезжали вниз. У каждого была своя лампа на мазуте: смердела, коптила; сквозняк — и она гасла. Тогда головой в столб, вслепую, наощупь, чтобы одолжить у кого-нибудь огня. Шахта работала в три смены, кайло, лопата, лента, *вагонетки*. Коники, маленькие такие «монголы», тянули вагонетки. Когда один сдыхал, то праздник был: на следующий день — «конский суп».

Шахта находилась под речным дном, сверху капала вода. Если захочешь пить, подставляй лопату. *Тюлька и камбула* (камбала?)

всегда были пересоленными, вызывали страшную жажду. Что ни день обвалы. Спускалось пятнадцать, поднималось десять. Никто никогда не знал, вернется ли. Досталось и мне, завалило.

В больнице сказали: может, и пойдет. Написали «номер такой-то, поврежден позвоночник». Тогда я познакомилась со своим мужем — в больнице. Он был портным, а в бумагах писали «болен», потому как ведь надо кому-то шить. Вот и держали в госпитале.

А началось так. В лагере большинство болели. Самые податливые были литовцы («Не латыши?» — переспрашиваю), мерли как мухи. Кто-нибудь умрет в лагере — его вычеркивают из ведомости, к пальцу на ноге привязывают дощечку с номером, написанным химическим карандашом. А умрет на стройке или в лесу — зароят или присыплют снегом. Смотря по тому, зима или лето. В ведомости: выбыл в неизвестном направлении. Мой будущий муж — мы еще не были с ним знакомы — в сорок восьмом заболел туберкулезом костей. Опух; грудь, шея. Послали его на «Шахты 9-10» — так называли лагерь, где врач из Луцка делал операции, вынимал ребра и вставлял взамен куски эбонита. Не согласился, все после этого умерли, а его отослали обратно. Лежал три дня вместе с трупами в подвале под баракom. Не умирал, и врачиха из Львова, чью семью по всем лагерям разбросало, от Казахстана до Сибири, сделала ему прямо на месте операцию. Разрезала опухоли и гной вместе с кусками костей вытек. А раны зажили.

А как выяснилось, что он умеет шить, что он портной...

Однажды, когда вели его под конвоем из лагеря, чтобы снять мерку для мундира начальнику, нашел на помойке клеенчатый портфель. Не знаю, как он его пронес, в любом случае, сшил себе из одеяла лиловый плащ и с тем портфелем приходил ко мне, в женский лагерь. Никто подумать не мог, что можно на такое решиться. На воротах стояли два караула, они даже честь ему отдавали. Известно — от чиновника многое зависит. Жизнь сильнее всего, что человек себе думает, и самое сильное в ней — любовь.

Месяц провела в больнице после несчастного случая. В шахту не вернулись, пихнули меня на лесопилку. А после кирпичи делать, к печи. Там так жарко было, люди теряли сознание в день по нескольку раз. Их тогда поливали холодной водой с вышки и загоняли обратно. Под конец попала в строительную бригаду.

Тут многое, если не все, зависело от бригадира. В мае, когда приходило тепло, стены и трубы, которые зимой ставили на лед, начинали падать. Нужно было писать объяснения, доказывать. Всё от начальника зависело. Скажут — саботаж, и нет бригадира.

В лагере рождались дети, пусть даже теоретически такой возможности и не существовало. Женщин наказывали. Когда я забеременела, меня перевели в лагерь километрах в двухстах от прежнего. Работала при колхозе. С теплом появлялись тучи комаров, воздух серел. Руки, шею, уши, лицо мазали глиной, разведенной с мылом,

чтобы кожу затынуло скорлупой. Помню летнюю бурю, перед нами в телегу, на которой везли косы, ударила молния. Мы закопали парализованного возчика в землю по самое горло. Оклемаля. Но лучше всего радовались тому, что конь околел.

У нас родилась дочь. Я все время, с самого начала, писала своим — по одному письму в год. Отвечать боялись. Но кто-то из них в конце концов ответил, прислал мне адрес моих родителей в Шокше. Я поняла, что они живы.

Детей обычно забирали в детские дома, воспитать советскими людьми. А мы хотели, чтобы дочку взяли дед с бабкой. Непросто было. Чиновники сами боялись — друг друга. Место для ребенка в доме родителей, в Шокше, муж купил своим шитьем. Иголкой.

...Барак метров тридцати длиной. С обеих сторон нары в два яруса. Посередке стояли печки, с шахты каждый приносил в кармане кусок угля, располагали мы таким неписанным правом. Выходы были в торцах, два. Нас заперли внутри, я точно помню дату — пятого марта пятьдесят третьего года, — и держали так две недели. Не знали, как дальше будет. *Na robotu nie pajdiom, Stalin padoch*, — сказал охранник. Только «параши», такие переносные туалеты, опорожнить позволяли. У мужчин в бараках начались драки: уголовники с политическими. Когда Сталин сдох и пришел Маленков, все только и говорили, что об амнистии.

Но амнистия пришла не ко всем. Нас, политических, отпускали в пятьдесят шестом, без права выезда из Воркуты. Еще успели увидеть, как ломают памятник Сталину в центре городка. Прицепили тросом к трактору... и развалился, словно гипсовый. Мы поженились, у меня было платье, сшитое из парашюта, вуаль из медицинской марли, у мужа — костюм из лагерного одеяла, бумажный букет цветов. На свободе получила работу ночного сторожа. Выдали мне ружье, чтобы охранять банк. Выдержала экзамен по стрельбе, три дырки в мишени. Правда, не от моих выстрелов. Тем не менее, сдала. Ну так. Наши документы на выезд муж подсунил начальнику, нам разрешили вернуться в Польшу.

Вернуться — но куда? Выехали ровнехонько в тот день, когда всюду отмечали юбилей революции, 7 ноября 1957 года. Пропускной пункт в Тересполе, репатриационный пункт в Бяла-Подляске. В чемоданах везли апельсины — все потом в Польше твердили, хорошо же вам там было!

Мы давали подписку о неразглашении.

«Сболтнете лишнего и сразу вернетесь сюда... уж мы постараемся, — так говорили нам в отделении городской милиции. — Глаз с вас не спустим, так что начеку будьте.

Нам тут вражеская пропаганда не нужна. Подписывайте...»

НАДИЯ. Стоим мы в бараке, человек двести, вдоль стен из дрючков нары двухъярусные, кругляши не окорены, ни одеяла, ни подушки — и ужас. Аккурат *Різдво*, Рождество то есть. И жуткая тишина. Ни звука. Вдруг кто-то начал плакать. Всхлип один, тихий плач. И все двести... посреди барака — вой, рыдание.

ТЕОДОЗИЯ. В пересыльном лагере нас отвели к «фашистской» зоне, груды тел («трупы едят, то-то сволочи!»), кухня рядом, чтобы они видели, вам тоже посмотреть нужно, им есть не дают, а нам: *получайте хлеб, девчата*. Даже для нас это страшно было.

Надія Іванівна АРТЕМОВА родилась в 1923 году в Голобах под Ковелем. Арестована в 1943 году, осуждена на десять лет лагерей. Освобождена по истечении срока без права на возврат. После десяти лет поселения в Магадане вернулась в Луцк [70 км от Ковеля].

Теодозія (Одосійка) ПЛЫТКА-СОРОХАН родилась в 1921 году на Гуцульщине (Карпаты) в селе Криворовня. Арестована в 1943 году, осуждена на десять лет лагеря строгого режима и пожизненную ссылку. Освобождена без права возврата в пятьдесят четвертом, в октябре пятьдесят шестого года получила разрешение вернуться на родину. Скончалась в 2017 году.

ДВЕ ДАМЫ НЕ ПЕРВОЙ МОЛОДОСТИ

Интродукция

НАДИЯ. Дочка моя, всё у нее хорошо, живет в достатке в России, поехала с сыном в прошлом [2007] году в Магадан. Полетели самолетом. Заказали такси на целый день. Сделали фото, фильмы. «Все нации тут, на памятнике, вроде бы даже американки были, — с гордостью ассистировал таксист. — Жалко, туристы приезжают сюда, затирают следы». Не призналась, что здесь родилась, что не знает — кто он, ее отец.

ТЕОДОЗИЯ. Дядька боролся за свободную Украину, я о нем написала в стихах, что он *мил* Бога просит, Бог мимо пули носит. А о москалях и Параске написала: *обещали москали сладкую долю, я им поверила, попала в неволю, вышла из неволи, не видала ласки, а по чьей вине, по вине Параски*. Были как две березы, две сестры плачущие, в Криворовне параскин музей есть. [Параска Плытка-Горыцвит (1927–1998) — гуцульская народная художница, сказительница, философ, фотограф — В.П.] Маленькая, еще от земли

не видать, а уже сидит на скамейке, раскрыв рот, слушает: *хочу всё скушать, что дядька рассказывает, за что боролись*, — ее слова. Молитвенник, который хотели, да не сожгли, отдала музею. А в углу зала Дома культуры в Верховине, там, где пианино сейчас стоит, я готовилась к расстрелу, на смерть.

До 1918 года

НАДИЯ. Родословная моя начинается в деревне Голобы, недалеко от Ковеля.

ТЕОДОЗИЯ. Мы все родились на Гуцульщине, в Криворовне. Мамин брат — в царской армии с четырнадцатого по семнадцатый, потом дезертировал. В полном обмундировании, с парой коней и пулеметом подался к *галицким стрелкам*, в Сечь. Его курень участвовал во взятии Киева в восемнадцатом году, до самого разгрома воевал под командованием Коновальца, попал к москалям в плен.

От «независимости» до 17 сентября 1939 года

НАДИЯ. Отец мой являлся «хлеборобом», а мог бы являться, согласно нынешней терминологии, фермером или производителем сельхозпродукции. Мы при земле, торговля под жидами, в упрявках и на железной дороге сидели поляки. Жили одной семьей. Вместе праздники, зимой санки, «кулиг», правда, подальше от жидов, пусть они там по-ихнему. Деревня большая, четыре почти

тысячи, свой вокзал, костел, церковь, разве что дворец Вильгов, и то он был «своим». И даже свое старое, то есть, польское кладбище. Польская семилетка, нас в ней записывали русскими, только дома говорилось: ты не русская, ты — украинка. До тридцать пятого года шесть классов закончила.

ТЕОДОЗИЯ. Убегая от москалей, дядька попал к полякам, хотели его расстрелять, но он сбежал, вернулся домой, а когда русские и сюда добрались, спрятался в Румынии, нажил «грошей», снова вернулся и стал жить за хатой Параски, в которой сейчас музей.

Расскажу о себе: я грешница Дося, училась один год, дом под школу отдал Василь Якибьюк, хозяин, у которого не раз жила Иван Франко. С поляками не сложилось, второго класса не кончала, сыновья коменданта Роман и Збышко заимели на меня зуб.

С другой стороны, имела подругу-ровесницу, «шикарную» барышню Йозю, прекрасную *полячку*. Слушая дядьку, размышляла, где же она, Украина, за которую столько воевали?

До 22 июня 1941 года

НАДИЯ. Седьмой класс оканчивала уже в России, в советской школе. Сначала, как пришли, нас не трогали, лишь потихоньку вывозили поляков. Полицейские сбежали, так они тех, оставшихся — врачей, учителей... Отца взяли в Красную армию.

ТЕОДОЗИЯ. Пришли русские, навели порядки. Интеллигенция побежала на Запад. Ворохту стерегли, там станция, потому и

пробирались через горы, через наше село. Привал делали в церкви, оставляли часть багажа, лишние вещи, книги и шли. Шляхом татарским.

Период Великой Отечественной до Освобождения

НАДИЯ. Пришли немцы. Сразу загнали евреев в огороженный загон. Два раза расстреливали, в одну яму свалили. Только тогда нас начали гонять на работу, поначалу как будто добровольно, начиная с мужчин, на выбор: украинская полиция либо Германия.

Были разные партизаны: польские, украинские, советские. Одни против других, изредка скопом против немцев. В мае сорок третьего приказ из леса, полицейские — все как один с оружием в УПА. Пошли настоящие репрессии, охота на мужчин, не спрашивая: за забор — и смерть. Лютое время, кто хотел стрелять, шел и убивал. Село опустело, кто куда, а двери в хатах открыты. На столах самогон, сало, яйца — чтобы избу не подожгли.

ТЕОДОЗИЯ. За москалями явились немцы, стали вывозить на работы. Я зарегистрировалась в украинском комитете, а чтобы не выслали, пошла служить в церковь. Было мне двадцать, многое понимала. Читала ночами книги о голодоморе, такие с картинками, с фотографиями, плакала, не могла поверить. С того времени хранила молитвенник, брошенный беженцами из Винницы. Немцы нас вычислили, разгромили, допросили двадцать пять человек, всего один парень вернулся, недоумком. Выжила чудом.

Тем времени женщины собирались, шили нашим рубашки, мотали бинты, пекли хлеб.

Освобождение, Красная Армия

НАДИЯ. Через Голобы прошла Красная армия, за деревню еще цеплялись остатки немецких отрядов. Вернулся отец и остался, его называли «фронтовиком». Квартировал он в Луцке. На селе КГБ [тогда МГБ — *В.П.*] в то время еще не было, они нападали со спины, из тылов, у них были списки. Окружили дом, показали подписанный военным прокурором ордер. Оружия не нашли, да и откуда, искали радиоприемник, тоже не нашли, не было у нас радио, в конце забрали книгу «История Украины» (*всё, сука, этого хватит*).

...Брали пятерых, сажали на пол, в комнате — стол, за столом люди в мундирах, читают: ты — двадцать, ты — пятнадцать, а тебе — двадцать пять. Просила («Встать, последнее слово!»), чтобы не трогали родителей, все просили об одном и том же.

ТЕОДОЗИЯ. Мы знали, кто, где, куда, хотя телефонов не имели. Немцы, ясное дело, убивали, по лесам то и дело находили почернелые трупы, но не столько, как русские. С поляками не во-евали, потому что их не было. Весной сорок пятого я ездила на Шевченковской праздник в Белый Черемош, когда вернулась, почти в каждом доме был кто-то арестован, дядя, Парасочка моя тоже, выдал нас парень, что за ней увивался. Меня схватили через

неделю, облава из Косова [*Kosiv*], предупреждение запоздало. Тогда отобрали мой молитвенник, чтобы сжечь. Я теряла сознание, меня допрашивали еще и еще... били, грудь вся черная. Мне все равно было, я хотела свою книжечку обратно, уперлась. Записали меня на расстрел. Расстреляли бы, но взошло солнце, а они убивали по-тихому, ночью. Комендант *истребительного* батальона принес мне молитвенник, я отдала его матери. Долго гулял по свету, в сорок восьмом вернулся домой. А нас в тот день в Ворохте — по арестантским вагоном, но поезд взлетел: наши взорвали рельсы. Выжили средние вагоны, «соловецкие». Решетки выпилили, арестованных вытащили, на машинах отвезли в Станиславов, держали месяц в подвале без окон, на размякшей глине.

Судили нас 18 августа 1945 года, называлось «военная тройка» [подтверждения не нашел — *В.П.*], перед судом загнали в баню, поливали водой, с кусками глины вместе сдирали струщья. В бане на проходе стояли корзины с вишнями, запахи лета в воздухе... Но никто не посмел протянуть руку хотя бы за одной ягодкой.

Депортация, первый этап

НАДИЯ. Июль душный, жаркий, конвой со всех сторон, привели на вокзал, в Луцк. Меня отец провожал, *фронтвик*, шел по тротуару в мундире, вначале стояла тишина, он просил конвой (*с дочерью проститься позвольте* — не позволили), кто-то крикнул первым и, как по команде, разом все: в крик, без слов. Попала

на харьковскую пересылку, был август, жара. Три огромных пятиэтажных дома битком набиты людьми. Надзиратель: *Корми еще вас, фашистская сволочь*, — два раза в день вареная дыня на воде, один раз *кусочик* хлеба.

В ноябре посадили нас в вагоны, семь недель ехали, и вот: бухта Находка, конец, японская граница.

ТЕОДОЗИЯ. Из суда повезли в какую-то еще тюрьму. Камера с полом, нарами, окном, сквозь которое внутрь светило солнце. Однако ни лечь, ни сесть. Тотчас крысы: по рукам, по ногам, кусали везде, кровь ручьями. В соседней камере загрызли всех арестованных, тогда пустили дым, смрад — хотели газом их отравить, так как не давали войти внутрь, кидались на охрану. И были мы там двадцать три дня, пока не погрузили нас на тюремные грузовики и не повезли воронками во Львов. Высадили на пустой площади у запасных путей. И туда въехал *шикарный* поезд, самый первый класс, нарядные вагоны. Так возвращались в «лоно отчизны» западные переселенцы, соблазненные советской пропагандой.

Их окружили со всех сторон. Поезд отъехал, и бросились на них, содрали с них всё, наголо, казалось, разверзся вдруг ад: крики, проклятья, лай псов, плач, кровь, дрались между собой за часы, за цепочки. *Падаль, проклятая фашистская сволочь*. Нас соединили и под общим конвоем загнали в деревянные бараки.

Из Львова выехали лишь только после Нового года, четырнадцатого января. Воробушки наворожили, была оттепель, они

всё прыгали перед нашим бараком в лужах, друг перед другом красовались, вдруг тревога, формируют колонну и на вокзал, в товарняк. На самом конце — пустая платформа для перевозки дерева. К вечеру поезд двинулся, наутро снова встал в поле, трубы из вагонов выносили на платформу, все должны быть на месте, считали, пока не сошлось. Когда под конец февраля доехали до Новосибирска, гора тел была такая, что последний вагон не пролезал под виадуком.

«Транзитный пункт»

НАДИЯ. Стоим мы в бараке, человек двести, вдоль стен из дрючков нары двухъярусные, кругляши не окорены, ни одеяла, ни подушки — и ужас. Аккурат *Pizdvo*, Рождество то есть. И жуткая тишина. Ни звука. Вдруг кто-то начал плакать. Всхлип один, тихий плач. И все двести... посреди барака — вой, рыданье.

ТЕОДОЗИЯ. Новосибирск затянула мгла, капало с крыш, не морозило. Печка стояла в углу у блоковой, другого тепла не было в бараке. Мы разгружали уголь, сами тянули сани, потому что лошадей не было, вывозили снег, расчищали аэродром. В конце марта, двадцать третьего или двадцать четвертого, когда настала весна и прогрела пути, привезли беглецов, Виктора и Лиду. По этому случаю *зеков* из окрестных лагерей собрали на митинг, чтобы показать их тела. Как заявил начальник, Шевченко, их взяли французы и выдали нашим. Зацвела липа, стало тепло, объявили

очередной этап на Север. Начальник эшелона, «хохол», задерживает поезд, набегает конвой, кто-то кричит, что сейчас будут расстреливать, все обнимаются, прощаются... ни единой слезки. Распахиваются двери вагонов, он раздает нам цветы по случаю Троицына дня. После этого дивный сон, скирда сена, я утопаю в ней, башня с часами, на башне — статуя Христа в терновом венце, с опущенной головой...

Пересыльный лагерь

ТЕОДОЗИЯ. Доехали до Комсомольска на берегу Амура, не было моста, рельсы кончились. На другую сторону нас перекинули паромом. А там уж наши, вывезенные в двадцатые годы из восточной части, угощают свежей сельдью, спрашивают об Украине. Провезли по реке, ссадили с баржи на песок и уплыли. Ночью подошли *блатные*, «воры», начался содом, грабили, насиловали, убивали. Утром вернулся пароход, высадил двух охранников, солнце, тепло, другого берега не видно, вода мутная, а пить хочется. Снова все болеют, умирают, горячка, язвы. Лагерь на болоте, летняя пора, сенокос. Собрали семь бригад, в каждой по сто человек, всё сено свозим в одно место, в нем и утонуть легко, вспомнился мне мой сон. Над нами *мошка*, казнь египетская, брови превращаются в раны. Два года, а может, и больше, провела я в этой трясине. И тут *падох* Берия. Лагерь ликвидировали, а нас паромом, грузовиками — на Север.

Открытие сезона навигации

НАДИЯ. До мая море лежало подо льдом. Как появилось солнце, пришел ледокол («открыл» сезон навигации), нас посадили на судно, везли морем семь дней. Высадили в Магадане, середина мая, а тут снег по колено. Опять пересылка, баня и дезинсекция. Оставить: обувь, платья, полотенца... кто в чем был — в одни двери войти, в другие выйти. Обувь пошита из брезента, снизу кусок резины (*валенки бери!*), платье из брезента, трусы, хлопковая серая рубашка, фуфайка, шапка. А как в этом ходить, если зашнуровать нечем, нечем подвязать брезентовые сапоги под коленом? Страна советов, под *шконкой* в бараке нашла я портянки, сделала шнурки, отпорол подкладку у шапки и появилось у меня полотенце. Везли нас *полуторками*, везут, везут, а конца не видно, тайга, триста километров то лес, то лагеря. На контрольных пунктах не верят: девочки, что вы, мы тут убийц держим, бандитов.

В конце концов высадка, вокруг ничего, перед нами горы, *там ваш лагерь*, с той стороны, дальше пешком.

ТЕОДОЗИЯ. Зима застала нас в бухте Находка. В лагере бунт, погромы, «блатные» захватили кухню, сожгли столовую, три дня без еды, друг с другом дерутся. Разгоняли их водой, стреляли, пока не упадут. Так над Охотским морем ждали мы открытия сезона навигации. Корабль далеко в море, свозили нас на него лодками, заперли всех в трюме. Пльвем, на десятый день заканчивается хлеб. Бунт, блатные добыли оружие, ножи, вновь дерутся, в

бортах пробили дыры, а тут шторм. Корабль тонет, тех, что стояли у дверей, выпустили наружу, подождали, пока вода не зальет трюм, тогда включили насосы. Внутри все захлебнулись, трупы за борт выбрасывали.

В пересыльном лагере нас отвели к «фашистской» зоне, груды тел («трупы едят, то-то сволочи!»), кухня рядом, чтобы они видели, вам тоже посмотреть нужно, им есть не дают, а нам: *получайте хлеб, девчата*. Даже для нас это страшно было.

«Поднесу я к речке свечку, и растает лед...»

НАДИЯ. Сказали нам, что будем работать на шахте недалеко от Колымы...

ТЕОДОЗИЯ. Оказались мы на шахте, земля оттаивала не больше, чем на лопату, вечная мерзлота. А в некоторых местах из земли бил фонтан теплой воды и замерзал, опадая, звенел как стекло. Страшное течение в реке, а под водой — лед. Раз везли другую бригаду на тот берег, лодками, борта обросли льдом. Лодка зачерпнула воды, кто-то выпал, одежда замерзла. Махнул руками несколько раз, крикнул что-то и застыл, как фигура из воска.

В Магадане

НАДИЯ. В пятьдесят четвертом лагерь «закрыли», нас вернули в Магадан, в порту я возила на тачке камни, отсыпала набережную, делала кирпичи — у печи, при глине, где велят, красная, как

призрак революции. После четырех лет первые *посылки* из дома, а потом раз в год: каша, соль, сахар, *солонина*, сухари, а мне даже прислали платок из овечьей шерсти.

ТЕОДОЗИЯ. Там родилась заново, 20 июня 1954 года.

Случайный поворот темы

НАДИЯ. Вижу в лагере, стоят в стороне три женщины. Спрашиваю у своих *девчат*, откуда, мол, эти — никто не знает. Была здесь «прибалтика», они тоже другими были, держались отдельно: финки, литовки, латышки. Высокие, гибкие, волосы светлые. Немки были и разные нации: молдаванки, грузинки... Тогда нам было всё равно, *чорт* с ними, кем бы они ни были, в лагере все равны. А все-таки другие: подстрижены по странной моде, плащики тонкие, не наши, и дивная одежда, даже сапоги. *Американки*, говорили между собой охранники. Арестовали их, ну а власть не любит сомневаться долго, легче застрелить, затереть следы, и камень с плеч. Сейчас в газетах пишут, кто читал, знает — вроде разыскивают американских заключенных по документам...

Первый день свободы

НАДИЯ. Одетую, словно бы шла на работы, меня вывели за ворота (днем раньше: прихожу в барак, промерзла до костей, голодная, усталая, все на меня глядят, «тебя освободили», но до меня не доходит, глупая шутка, я мою руки, зовут к начальнику, это плохо,

посадят в изолятор, *а за что* крутится в голове, он со мной на *Вы* — «садитесь», я стою, докладываю: норму выполнила, прошу не наказывать, он: *Вы свободны*, дает бумагу, плачу: «Оставьте меня в лагере, ну куда я пойду»). Заперли за мной ворота, боюсь отойти, не знаю, как эта свобода выглядит (за ночь в бараке собрали мне «приданое»: подшили, подлатали фуфайку, починили валенки, варежки подштопали). Еду в автобусе по городу, кондуктор не берет с меня «ни гроша», кто-то протягивает булку (засовывает в карман: *бери, девочка*). Ишу столовую, в ней подружка работает с тех пор, как освободилась. Полдень: она говорит — подожди, отдохни. Сажает меня за стол, за ним четверо сидят, приносит суп, курицу, картошку, приносит компот. Колупаю вилкой, колупаю, аж стыдно. Отложила курицу, никогда после не смотрела на мясо с такой тоской, до спазма в желудке.

(Фото из ателье, на заднике — лес, пять молодых женщин, красиво одетых, темные практичные платья, прически только что от парикмахера, на первом плане — скамья, две женщины сидят, между ними молодой человек в костюме...)

Без права возврата

НАДИЯ. Жила у подруги неделю, потом нашла для себя место. Еврейская семья при службе, оба — начальники, от них получила постель, еду. Каждый месяц вызывали отмечаться, тех, кто приходил, ни о чем не спрашивали, в грузовик — и вперед, на Чукотку,

по всей Сибири... (мой хозяин-начальник так объяснял: *вылезай и живи как хочешь, нам нужно территории людьми заселять*). Боялась идти отмечаться, еще больший страх — не идти. Хозяин звонит по знакомым, хозяйка отсылает повестки. Осталась: видать, судьба. Хозяева послали меня на курсы, стала поваром. Чтобы вся жизнь не прошла у кастрюль, послали в школу, изучала там общепит. Приоделась, вышла за «человека», муж мой из Смоленска, ЗК, двадцать пять лет. Часть срока ему скостили, десять лет жили без права на возврат, в Магадане родилась моя первая дочь.

ТЕОДОЗИЯ. Люди жалости не имели, а Бог смиловился. Вышла на свободу. Выслали меня на поселение без права возврата. Получила документ, *доверенность*. Чтобы съездить в соседнюю деревню, приходилось отмечаться. Попала к добрым людям, работала два года в колхозе, получала сорок рублей. В соседнем колхозе был арестант, такой как мы, поп из Львова, ночами по большим праздникам служил тайно службы. Тридцать километров в одну сторону, зато каждый шаг был Бога исполнен. Преломляли хлеб и сразу в обратный путь, на рассвете нужно быть на месте.

Поп работал в колхозе трактористом. Помню первую Пасху на воле. На двух тракторах колхозная бригада поехала будто бы на работу, никто не донес. Отмечали в поле под деревом.

Возвращение

НАДИЯ. Как родилась дочка, так в первый раз мы набрались

храбрости, поехали в Голобы. А там деревья, цветы, даже земля пахнет, все прямо свое, будто бы дождалось.

Единственная мысль засела в голове, и не было больше покоя. Вернулись.

ТЕОДОЗИЯ. В Криворовню я вернулась 30 октября 1956 года. Мама тоже вернулась, была на поселении в Караганде. Халупка наша выстояла, покосилась, крыша просела, внутри малина проросла сквозь пол... Остальные избы разобрал колхоз — похуже на дрова, почище на постройки. Каторгу за стаж мне так и не зачли. Написала, чтобы реабилитировали, или пусть документ дают, что я не заслужила такого. Прислали деньги, за десять лет по пятьдесят гривен, это меньше десяти долларов за год работы. Еще в восемьдесят четвертом сделали мне ревизию, ни бумажонки не оставили: всё, календари, книги, письма, фотографии, даже молитвенник забрали. Его отдали обратно — и с ним две книжки, остальное задержали.

Что делать?

Живу одна, вдали от людей. Живу.

Книга особого назначения

СТРАНСТВИЕ ПЯТОЕ: *ТОПОС НЕДОВЕРИЯ*

...te aguarda incorruptible tu tesoro:
la vasta y vaga y necesaria muerte.
Jorge Luis Borges. BLIND PEW

...тебя твое сокровище приветит:
огромной, мутной, неизбывной смертью.
Хорхе Луис Борхес. СЛЕПОЙ ПЬЮ
[пер. Петра Чугайстера]

«...Облава чекистов двинулась сквозь село. Где именно скрывался Шухевич — это пока еще не было известно. Но, как и с *малявой* Дарки Гусяк, помог случай. Сынишка домработницы заметил сотрудников, сразу понял, на кого идет охота, и бросился к своему дому с криком: ‘Роман, беги, беги!’ Сотрудники бросились за подростком».

ДАРЬЯ ГУСЯК родилась 4 февраля 1924 года в Трускавце (II Речь Посполитая), в десяти километрах от Дрогобыча. Там же окончила украинскую народную школу, затем, уже при немцах, торговое училище в Дрогобыче. Член ОУН с пятнадцатилетнего возраста, с середины 40-х гг. — связная главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Была арестована в 1950 году и приговорена к двадцати пяти годам тюрьмы. После отбытия наказания освобождена под условием невозвращения на Западную Украину. В настоящее время проживает во Львове.

ЦВЕТА ВСАДНИКОВ НЕОБЪЯВЛЕННОГО АПОКАЛИПСИСА

Вместо вступления — записка из тюрьмы

Мои дорогие!

Имейте в виду, что я попала в больш[евицкую] тюрьму, где нет человека, который переж[ив] то, что меня ожидает, не сломался бы. Я после первой стадии держусь, но не знаю, что дальше будет. М[онету, то есть, Е. Зарицкую] приводили на очную ставку, она герой, потому что держалась 5 месяцев. Целую. Нуська.

<...> Обо мне очень много знают, а основной вопрос это — о Шу[хевиче] и Ди[дык]. Меня схватили шестеро и не было возможности покончить с собой. Знали, что у меня и пистолет, и яд.

До 1918 года

Трускавец как городок курортный стал знаменитым под конец XIX века из-за минеральной воды «Нафтуса». Там жили мои родители, Мария и Юрко Гусяк. Относились к украинской элите и по меркам сельским были людьми состоятельными. Отец занимался

общественной работой, но школы средней не закончил, помешала Первая мировая.

До 1 сентября 1939 года

До самой войны отец руководил кассой Райффайзенбанка, был главой местной «Просвиты», вел бухгалтерский учет в сельском кооперативе. Я имела двух сестер, Леся была старшей, Зеня младшей, братьев не было. Ходила в польскую начальную школу. В Трускавец, который был в моде среди поляков, приезжал отдыхать Пилсудский, члены правительства. 29 августа 1931 года в пансионате, где он находился на лечении, был застрелен Тадеуш Голувко, деятель Движения независимости народов. Василя Биласа и Дмитро Данилишина, которые это сделали, осудили на смерть. В 1938 году начала учиться в Дрогобыче, в Купеческой гимназии.

Вместо комментария. «Легендарные украинские патриоты Василь Билас и Дмитро Данилишин, павшие от рук польских оккупантов в 1932 году во Львове, были близкими родственниками матери пани Одарки — Марии Гусяк» («Нация и государство», февраль 2004).

Вместо комментария. «В Трускавце всегда ненавидели оккупантов <...>, прежде всего поляков. Дарья Гусяк вспоминает — однажды, еще во втором классе трускавецкой школы, они с друзьями после уроков сняли портреты польских лидеров того времени, выкололи им глаза, а после повесили вверх ногами. Такая

вот детская месть за погибших украинских патриотов Василя Биласа и Дмитро Данилишина» (www.kreschatic.kiev.ua).

Вторая мировая

С началом войны объявились немцы, однако вскоре отступили за Сан, его русло означало границу, которую называли линией Керзона. Их место заняли большевики, сменили название школы на «Дрогобычскую Торговую гимназию». Ввели русский язык, заставляли учить марксизм-ленинизм. В Трускавце, где отец был председателем местного совета, устроили выборы. Жители вновь голосовали за отца: он считался человеком справедливым, пользовался авторитетом. И стали ждать. На селе большевиков встречали как освободителей, хлеб-солью, с украинскими желто-голубыми флагами, но вскоре весь край этот подвергся репрессиям. Украинское село вывозили в Сибирь. В 1940 году арестовали моего отца и дали семнадцать лет. Мне было тогда шестнадцать.

Начало Великой Отечественной

Немцы открыли тюрьмы, выпустили заключенных, кого не успели перебить большевики [в 1941 году в одном только Львове 4–7 тыс. узников польского и украинского происхождения были убиты бегущими от немцев кадрами НКВД — В.П.]. Обещали свободу, начали формировать украинские дружины полиции, вспомогательные службы. «Специальный отдел Нахтигаль», «Организация

Роланд»... Школу назвали Handelsfachschule. В апреле 1941 года Бандера провозгласил во Львове «украинское государство». Правда оказалась горькой, немцы не хотели дать свободу, заставили провозглашение отменить. Наигоршим злом все-таки были коммунисты, было правило: враг моего врага — мой союзник.

Сестра отца моего, Наталия, вышла замуж в славную семью Ризняков, где трое братьев были членами ОУН. Самым известным был Роман (псевдоним Макомацкий), он ввел меня в подполье.

Вместо комментария. «Боевую группу ‘Макомацкого’ отличала значительная активность. Ее руководитель был активным эсбистом [служба безопасности ОУН] в борьбе против агентуры, организатором действенных систем разведки и контрразведки, эффективным проводником. А в период с января 1946 по июль 1948 группа во главе с ‘Макомацким’ осуществила 23 акции, во время которых было убито 66 врагов, из них советских партийных активистов — 27, военнослужащих МВД-МГБ — 14, предателей-коллорабационистов — 25, кроме того, совершено 7 диверсионных актов» (Википедия на украинском языке).

Возвращение большевиков

Когда большевики вернулись, женская сеть ОУН была преобразована в Украинский Красный Крест во главе с Екатериной Зарицкой. НКВД заинтересовался мной, сделалось тесно. Вместе с матерью и Мартой Пашковской ушли в подполье. Переехав, как

перемещенные лица, в село Громное, устроили конспиративную квартиру. Осенью в ней прятался Роман Шухевич, командующий отрядами УПА. Мы жили в деревенской избе, другую половину занимал местный поп. Маскировались под мастерскую, мама умела шить, в юности она окончила школу «Труд», где были курсы кройки и шитья. После отъезда Шухевича в 1947 году на лечение в Одессу произошло случайное раскрытие, погиб советский солдат. Пришлось бежать, я оказалась во Львове. Стала связной.

Вместо комментария. «В селе Громное Городецкого района Львовской области был открыт музей генерала УПА Романа Шухевича. Шестьдесят лет назад в плембании местного священника действовал подпольный штаб, где генерал останавливался у своих ближайших соратников, среди которых до сих пор жива связная Дарья Гусяк из Львова» (украинские СМИ, октябрь 2007).

Вместо комментария. «Во Львове девушку обучили непростому ремеслу — подделыванию документов. Она так мастерски овладела им, что у нее позже появились свои ученики. А еще в качестве разведчика она ездила в Полтаву и Киев. Зимой 1950 года даже побывала в Москве...» (www.kreschatic.kiev.ua).

Арест, следствие

Я была задержана во Львове 2 марта 1950 года, за мной уже следили. Последняя моя встреча перед отъездом. Они схватили меня за руки, чтобы я не могла достать оружие или яд. Связали, бросили

в машину, была им нужна. Расследование вел майор Гузеев, они остригли мне волосы, били по голове, ушам, рукам, ногам. Мои ноги походили на стиральную доску. Прижигали папиросами, зажимали пальцы в дверях, лупили резиновыми дубинками. Чтобы заставить меня говорить, на моих глазах пытали мать. Начали давать мне психотропные препараты. Я боялась, что без сознания что-нибудь да скажу. Чтобы всех предупредить, передала письмо через заключенную, которая должна была освободиться.

Вместо комментария. «...Постоянно чувствовала: за ней следят. После совещания с Шухевичем и Галиной [Дидык] было решено, что дальнейшее пребывание во Львове для Дарки опасно — нужно бежать за границу. В марте 1950 года фальшивые документы были готовы, оставалось выполнить последнее задание начальника — передать указания двум связным...» (www.kreschatic.kiev.ua).

Вместо комментария. «Взять ее помогла агент <...> МГБ 'Павлычко', которая ранее под влиянием Г[усяк] прекратила сотрудничество с МГБ и перешла на нелегальное положение, как потом выяснилось, вынужденно» (энциклопедия ОУН-УПА).

Вместо комментария. «По словам Юрия Шухевича [сына Р. Шухевича — В.П.], 'она неосознанно явилась виновницей гибели Романа Шухевича'. Дарка также была связной и выполняла соответствующие задания, к примеру, выезжала в Москву с целью установить контакт с посольством США» (украинские СМИ).

Вместо комментария. Где именно скрывался Шухевич — это пока что не было известно. Но, как и с запиской Дарки Гусяк, помог случай. Разные авторы описывают случай по-разному, сходясь на том, что из окруженного дома Натальи Хробак, адресата записки, на улицу выскочил ее брат. Пытаясь прорваться через войсковое оцепление, был задержан и на допросе показал, что в центре села, в доме их сводной сестры, проживает домработница «Стефа», похожая на предъявленную чекистами фотографию...

«...Облава чекистов двинулась сквозь село. Где именно скрывался Шухевич — это пока еще не было известно. Но, как и с *малявой* Дарки Гусяк, помог случай. Сынишка домработницы заметил сотрудников, сразу понял, на кого идет охота, и бросился к своему дому с криком: 'Роман, беги, беги!' Сотрудники бросились за подростком» («Фокус», июль 2007).

Суд, пересылка, лагеря

Некоторое время во мне поддерживали убеждение, что Шухевич жив. Следствие во Львове продолжалось почти год, затем еще год шло расследование в Киеве. По приговору суда я была осуждена на двадцать пять лет. В те годы пионеры плакали, протестуя на митингах против заключения в тюрьму агентки коммунистов Анджелы Дэвис в Соединенных Штатах. По всему миру прошла коммунистическая кампания за ее освобождение. Через восемнадцать месяцев она вышла из тюрьмы, в ее защиту пели Джон

Леннон и Роллинг Стоунз. А по закону СССР максимальный срок тюремного заключения для женщины равнялся пятнадцати годам. Под давлением мировой общественности в 1969 году тюрьму заменили колонией. После 19 лет тюрьмы я попала в колонию строгого режима в Мордовии.

Вместо комментария. «После трагедии в Белогорске они убедили меня, что Шухевич жив, показали поддельные протоколы следствия, я начала говорить» (энциклопедия ОУН-УПА).

Вместо комментария. «Это был лагерь для политзаключенных <...>. Из старших украинок были Дарка Гусяк и Марийка Пальчак (уже покойная). Катруся Зарицкая (жена одного из лидеров ОУН Михайло Сороки) незадолго до этого освободилась. <...> Для меня это было, попросту говоря, очень большое открытие — этот лагерь. <...> А меня уже ожидали, даже раздобыли мед и приготовили всякие запасы. Была последней из тех, кого они ждали. Устроили для меня роскошный прием! Дарка Гусяк (видная участница националистического подполья, доверенный человек Романа Шухевича) была церемониймейстером, заведовала всем продовольствием и выдавала по одной или по две «подушечки» (конфеты), сколько там получалось на день, мы ей доверяли. Позже, когда мне принесли в тюрьму цитринку, лимон, Дарка спросила: ‘Как хочешь им распорядиться? У нас каждый волен решать, как хочет’. <...> Я сказала: ‘Хочу поделить лимон на всех’. А было нас двадцать шесть женщин. Как разделить один

лимон на двадцать шесть частей, чтобы по справедливости? Она сказала: 'Хорошо, попробую'. И разрежала лимон на двадцать шесть одинаковых ломтиков» (www.obozrevatel.com, август 2006).

Освобождение

Мне запретили возвращаться на Западную Украину. Да и к кому возвращаться-то? Дом разорен, родители навечно остались в снегах Сибири, сестра Леся в якутской ссылке, навсегда. В марте 1975 года поселилась у Катруси Зарицкой неподалеку от Волочиска. Устроилась на работу в ателье. Помогала тем, что оставались в лагерях, там, вдали... Местные жители были настроены враждебно, нас травили, выбивали окна, мазали двери дегтем... После смерти Зарицкой осталась одна. Все изменилось, когда Украина получила свою независимость. Я вернулась во Львов, чтобы жить.

Вместо комментария. «Жители Львова до 15 апреля [2008 года — В.П.] могут проголосовать за одного из претендентов на звание 'Почетный гражданин города' и 'Благородная львовская семья' на официальном сайте Львовского городского совета. В конкурсе на звание почетного гражданина города участвуют: Петр Франко, Рогнеда Сендецкая, <...>, Дарья Гусяк и кардинал Любомир Гузар» (www.city-adm.lviv.ua, апрель 2008).

От автора

Пани Гусяк живет в однокомнатной квартире на пятом этаже.

Похожие дома в семидесятые строили и у нас, в Польше. Коридор заставлен стопками книг. В комнате простые, функциональные предметы, на стене ковер, на столе красно-черный вымпел, фотография Шухевича. Комната напоминает скорее келью монашки, нежели обычную квартиру. Мы говорим на кухне, поскольку в комнате именно в этот момент проходит встреча Всеукраинской лиги украинских женщин. В ее поведении нет кокетства, прямо отвечает на вопросы, не прибегая к уловкам, отговоркам. Выглядит уравновешенной, свободной от вспышек эмоции, словно ищет что-то более важное, чем мгновенная истина, не для любого приемлемая. Когда спрашиваю ее о поляках, говорит: «Жаль, что между нами стояло столько предрассудков, ведь и сейчас политика России представляет угрозу как для Украины, так и для Польши». Она не улыбается, у нее отсутствующий взгляд, как если бы глаза всматривались в нечто иное, в прошлое.

Могла бы быть по другую сторону, тогда все могло бы быть по-другому.

Пояснения

Записка, цитируемая вместо введения, была передана ее сокамерницей «Розой» («Астрой»; относительно фамилии также есть разногласия) — агентом, как выяснилось впоследствии, МГБ УССР. В результате информационного перехвата Роман Шухевич был убит советскими спецслужбами.

Данный текст не был авторизован, беседа с пани Дарьей Гусяк (псевдонимы: Дарка, Нуся, Черная) состоялась во Львове в начале 2008 года.

Роман Шухевич — псевдонимы Тур, Тарас Чупрынка и др. (родился в 1907 году в Краковце Яворовского уезда [Австро-Венгрия], сын уездного судьи, студент Политехникума в Гданьске и Львове). Участвовал в убийстве начальника Львовского школьного округа Станислава Собиньского (1926), был техническим организатором покушений на польских чиновников (1931–1933), причастен к убийству министра внутренних дел Бронислава Перацкого (1934). Освобожден из Березы-Картузской по амнистии в 1938 году. Во время немецкой оккупации — офицер батальона «Нахтигаль», дезертировал в конце 1942 года вместе с украинскими подчиненными, полицейскими и солдатами вспомогательных формирований. Один из создателей, а затем главнокомандующий УПА. Организатор массовых убийств поляков и евреев на западе Украины. Застрелен сотрудниками НКВД-МГБ 5 марта 1950 года в Белогорще.

«...Ответственен за уничтожение польского населения на Волыни и в Галиции», — *Голос кресовян* (Музей истории польского народного движения в Варшаве).

Книга ветра

СТРАНСТВИЕ ШЕСТОЕ: *ΤΟΠΟΣ ΒΡΕΝΝΟΤΗΤΗΣ*

ὡς δρασσόμενος σκιᾶς καὶ διώκων ἄνεμον
οὕτως ὁ ἐπέχων ἐνυπνίοις
ΣΟΦΙΑ ΣΙΡΑΧ 34:2

Как обнимающий тень или гонящийся за ветром,
так верящий сновидениям.
КНИГА ПРЕМУДРОСТИ ИИСУСА, Сына Сирахова 34:2
[Синодальный перевод]

— Узбекистан — это край земли. Ксендз и тот появлялся лишь раз в году — на Пасху. Вагон, в котором он прибывал в Ташкент, отцепляли от поезда и отгоняли на запасной путь. Там он служил службы. В сумме в Намангане было всего несколько католических семей. Вольными были только мы, остальные — в ссылке.

АНЕЛЯ РУТКЕВИЧ родилась 27 августа 1939 года в Москве, праправнучка княжны Четвертинской. Высшее техническое образование, специальность — радиотехник, много лет была научным сотрудником в Львовском политехническом институте.

ЧЕТВЕРТИНА ЗНАЧИТ ОДНА ЧЕТВЕРТАЯ

— Четвертина. Напрашивается ли отсюда вывод — что за кровь течет в моих жилах? В нашем гербе есть наездник на коне, пронзающий дракона копьем. Это знак с печати царей московских, а еще его носили Четвертинские. Историки выводят родословную от Владимира Святославича, киевского князя и Красного Солнышка, от его правнука Святополка, чья сестра Сбыслава, будучи замужем за Болеславом Кривоустым, сидела на польском троне.

Сын же его Александр, деля отцовское с прочими братьями достояние, когда ему вотчиной Четвертня досталась, на реке Стрый лежащая, писаться почал князем Четвертинским, — звучит сказкой, да и является сказкой, но подвернулся мне под руку гербовник, наткнулась на это объяснение. Сколько себя помню, мы всегда говорили по-польски и чувствовали себя поляками.

Ретроспекция. Мы сидим за крохотным столиком. По-дозреваю, что помещение — согласно замыслу немалое — было

некогда поделено стенкой на две части. Получились кухонька и комнатка. За, как я полагаю, перегородкой — царство Генека, ее сына. Мебель прямиком из пятидесятых, пласты вещей неопределенного назначения — кажется, целые горы. Наверное, есть такое заболевание — громоздить эти горы вещей, — переходящее от предков к потомкам, оно сильнее рассудка. Ему подвержены люди, которых эпоха лишала всего подряд: имущества, религии, национальных черт. Всё может пригодиться, никто не знает, что именно понадобится в будущем. Чугунная раковина в углу. Под столом — пластиковые бутылки с водой: в течение дня краны сухи, вода появляется с шести до девяти утра. После можешь хвалить себя за запасливость или ждать следующего утра. В квартире, состоящей из комнаты и поделенной надвое кухни на первом этаже довоенной виллы, она прописана с 1947 года. Хрипящий репродуктор, подключенный к радиоточке, радует нас музыкой.

— Может статься, все закономерно? Нет, правда, я же повидала в жизни счастье — поболее других... Тайна, которую помню с детства, о которой лишь шепотом: скандал. Прабабка, Констанция Четвертинская, сбежала из родительского дома в Вену. Альфред Апель был причиной, была безумно влюблена, это ее отчасти извиняло. Вера в силу и в смысл любви — генетический дефект, который мы все от нее унаследовали. Ее дочь, моя бабка, родилась в 1893 году. В свидетельстве о рождении написано — гражданка

земли краковской. В восемнадцать лет отправилась в Вену навестить родственников. А некий Весельский Симон, пребывая пока в полном неведении, но уже имея товарищем брата моей будущей бабушки, желал стать провизором и изучал фармакологию в Харькове. Так — там — они и познакомились. Чувства! История завилась в кольцо. Однако безрассудная Констанция повела себя рассудительно и не позволила ситуации выйти из-под контроля. До женитьбы дедушка должен был потрудиться на свое будущее, обрести статус, обеспечить материальное благополучие. По собственной воле отправился в Узбекистан, в Ташкент, оттуда в Наманган. В Намангане натрудился на собственную аптеку и дом с огромным садом. Лишь тогда посватался. Бабушка моя приехала с мамой Константиной, Констанция после свадьбы осталась в Ташкенте. Там же и похоронена.

Сад, дедушкин дом, заросший пруд, абрикосовые деревья стоят перед глазами, будто со вчерашнего дня. Что следует отсюда: я — правнучка княгини Констанции, только и всего.

— Такая квартира во Львове в районе вилл — настоящий люкс, сейчас даже больший, чем прежде, — сюжет семейной саги сворачивает в сторону. — Моя мама ходила сюда на работу, в детский санаторий на улице Энгельса. Порой по нескольку раз в день. От Городецкой, где мы жили — напротив цирка — порядочный кусок. Решила, что любой ценой поселится здесь. И поселилась.

Ретроспекция. Львов. *Грызет меня как вошь пана Вайгля тоска по Львову нашему любимому*, — писал в сорок четвертом году девятнадцатилетний Збигнев Херберт своему школьному товарищу. Краков был в руках немцев, но конец войны близился. Одним из поводов моего присутствия во Львове стал изданный в 2001 году в двуязычной «Библиотеке славянской литературы» том Херберта — мне был обещан один из пяти последних экземпляров давно распроданного тиража. Две тысячи восьмой год стал в Польше годом Херберта — по случаю десятилетия со дня смерти. Еще раньше президент посмертно наградил его орденом Белого орла. Газеты, интернет запестрили биографиями. На каждом шагу натыкаешься на слова: ...*Некоторое время работал в институте у проф. Рудольфа Вайгля, где... кормил вшей.*

В издательстве «Камень» мы беседуем о Херберте. Его символическое возвращение во Львов [откуда в марте сорок четвертого перед возвращением Красной армии ему удалось вырваться — *прим. перев.*]: всё не так просто, даже сейчас не так просто...

— Но лучше все-таки по порядку, — призывает сама себя пани Анеля. — Мама родилась в 1912 году в Узбекистане, ее окрестили Хеленой. Ее младшего брата, дядю моего, звали Евгением. Дед очень желал, чтобы она стала врачом, медицина и музыка входили в семейную традицию. Узбекистан — это край земли. Ксендз и тот появлялся лишь раз в году — на Пасху. Вагон, в котором он

прибывал в Ташкент, отцепляли от поезда и отгоняли на запасной путь. Там он служил службы. В сумме в Намангане было всего несколько католических семей. Вольными были только мы, остальные — в ссылке.

Поэтому дедушка послал маму на учебу в Москву. Она выбрала педиатрию, хотела лечить детей. В нее влюбился лектор, мой будущий отец. Способный ученый, со званием доцента и с прекрасными перспективами. Происходил из московских немцев, звали его Александр Кестнер. Его семья дружила с Сергеем Рахманиновым, и тот какое-то время помогал нам из Америки посылками. На лекции отца стекались толпы студентов. Мама вышла за него. Началась война, пришло время распада, пересмотра ценностей. Немецкое происхождение становилось проблемой. Отец не мог работать в Москве, попросил перевести его в Хабаровск. Получил задание разработать вакцину от укусов клещей, вызывающих воспаление оболочек головного мозга [энцефалит]. Был добрым. Таким мягким, ничего для себя не требующим, что этим пользовались. Когда мама приехала к нему, оказалось: у него холодно, нечего есть, негде спать. Условия не для маленького ребенка, мама сразу поняла. Оставила — скорее всего из-за меня — прощальную записку и возвратилась. Я жила в Намангане у бабушки. Сорок второй год, в Наманган приходит польская армия. Среди солдат — эпидемия дизентерии и тифа, летом прибавляются желтуха и малярия...

Р е т р о с п е к ц и я. Со школы помню историю вывода польских войск, наивные детские дилеммы. Не мог решить, кого мне должно видеть в персоне генерала Андерса, героя или склочника, которому случайно удалось сохранить лицо. Его нелояльность по отношению к ген. Владиславу Сикорскому, его начальнику, заслуживала моего порицания. Армия — полагал я — держится на приказах и послушании, в любых условиях обязана защищать Родину. А недостаток воли для ведения войны «с немецкими разбойниками рука об руку с советскими войсками»? Многого не знал... масштабов многого. Учили нас, что Андерс добивался передислокации польских солдат на территорию Киргизии и Узбекистана, хотел быть ближе к персидской границе. Рассчитывал на союзников, на поставки оружия и провианта. За него был Черчилль, против — Сталин, тот хотел как можно быстрее послать польские части на Западный фронт. Внушали, что Средняя Азия в качестве базы для формирования армии — ошибка Андерса, что три с половиной тысячи мертвецов, жертв тех самых эпидемий, лежат на его совести интригана. По сей день испытываю трудности с расчетом прибылей и убытков по шкале, где цена деления — жизнь. В графе «прибылей» пишем — выведено в Иран в марте 1942 года: свыше 31 тыс. солдат из так называемых *сверх 44 тысячи пайков*, и около 12 тыс. гражданских, главным образом семьи военных; эвакуировано в августе свыше 40 тыс. солдат и примерно 25 тыс. гражданских. Спасены — только это имеет в итоге значение.

— Дядя Евгений задумал уйти с польским войском. Но вмешалась, по обыкновению, судьба, — моя собеседница встает с кресла, чтобы прекратить резкий свист чайника, наливает воду в чашки и продолжает, указывая рукой на сахарницу: — Судьба, как полюбало в среде медиков, звалась воспалением слепой кишки. Во время операции лесные бандиты, *басмачи*, разрушили линию электропередачи, отрезали госпиталь от света. Заканчивали при керосиновой лампе. Осложнение — и он остался. Мать тоже не ушла — не могла бросить родителей, боялась за меня. Бабушкин дом в Намангане был открыт, гостеприимен: у нас собирались польские офицеры, пели, танцевали. За это после вывода войск большевики арестовали деда. Обвиняли в том, что был шпион и польский офицер, хотя в жизни не держал карабина в руках. Тогда бедные узбеки, которых он посещал на дому и лечил бесплатно, взбунтовались. Его выпускали из тюремной камеры, чтобы он мог навестить больного. Через год вышел, но они конфисковали всё — включая деньги, собранные на отъезд из Намангана. Мечта о Польше лопнула, это сломало ему душу, подорвало здоровье.

— Насчет деда, Неля, ни-ко-му не говори, НКВД! НКВД есть везде, — предупреждала меня бабушка. Мама выпросила в Москве направление на работу во Львов, был сорок пятый год, война еще шла, рок, казалось, пощадит Западную Украину. Чиновники тогда были бдительны, во всем чуяли подвох, на каждом шагу

изобличали предателей. На всякий пожарный направили ее по-дальше в Карпаты, в Турку, где орудовали банды. Уже во Львове, на лестнице в райкоме, уверенная в том, что как-нибудь справится, встретила дедушкину знакомую, врача из Узбекистана.

— Дочка, убьют тебя, — сказала та, отбирая предписание. — Я всё устрою. Там бандеровцы, поедешь — не вернешься.

Мне было шесть лет, когда мама таким вот способом стала главврачом детского санатория на Энгельса. Отец приехал уже по смерти деда, в сорок седьмом. Некоторое время он работал в институте, где во время войны готовил противотифозную сыворотку Рудольф Вайгль. Мать так и не простила ему, что выбрал науку, а не нас.

Р е т р о с п е к ц и я. Слово «тиф» больше не ужасает, цивилизация с этим злом совладала. А некогда оно равнялось без малого смертному приговору. Я слышал о профессоре Рудольфе Штефане Вайгле, который, как сообщают источники, так ответил в июне сорок первого года бригадефюреру СС Фрицу Кацману [Friedrich Katzmann], шефу полиции Галиции, на предложение стать *германцем Рейха* [Reichsdeutsche]: «Отечество выбирают один раз». И еще, в сорок втором, когда уже были расстреляны *львовские профессора* — в ответ на *как известно пану, мы умеем заставлять*, — тому же Кацману, уже генерал-майору: «Генерал, я биолог, я знаю, жизнь неизбежно закончится, а жизнь в данный

момент стала невыносимой». [А до того, в тридцать девятом, отказал Хрущеву в переезде из Львова в Москву — *прим. перев.*] Немец по рождению, поляк по убеждению. Остался в сорок четвертом, когда гитлеровская армия отступала. Это он организовал производство вакцины в промышленных масштабах — из вшей, которых откармливала, спасаясь от голода и облав, польская и еврейская интеллигенция: Банах и Орлич, Ян и Кульчинский, Херберт...

Ежегодно с тридцатого по тридцать девятый Польша номинировала Вайгля на Нобелевскую премию. В сорок восьмом году новые польские власти сумели вычеркнуть его имя из списков — припомнили нежелание работать в Москве. В Кракове, где ему была предложена кафедра Института общей микробиологии при Университете, чувствовал себя неуютно, перевелся в Познань. Несколько краковских медиков (один из них — по мнению биографов — с целью отвести подозрения от себя) обвинили его в коллаборационизме. Умер в пятьдесят седьмом: в Закопане, на пенсии.

Через три десятилетия, когда казалось, что вывернутая коммунистами наизнанку реальность поворачивает к объективности, Яцек Куронь, будущий кандидат в президенты [1995], вдруг продемонстрирует «верх невежества»: *Во Львове работал доктор Вайгель — жид, производивший вакцину против тифа. На время даровали ему жизнь...* («Вера и вина. К коммунизму и от него»).

— Старый человек носит в себе нагромождение забытых слов и лиц, ситуаций, видов мест, замыслов, которым не удалось сбыться. Станный мир. Одни вещи уходят в забвение, другие, неведомо почему, продолжают жить и болеть до самой смерти.

Отец ждал, просил о прощении, ждал. Когда увидел, что его старания не приносят никаких результатов, ударился в амбицию, уехал в Ужгород. Там прожил десять лет и в пятьдесят седьмом умер — сердце.

— Сейчас я отступлю назад, к началу и к музыке, то есть, вернусь в Узбекистан. Мама любила музыку, первые уроки игры на фортепьяно брала в Намангане, подростком еще. Учась в Москве, попробовала продолжить, через кого-то из друзей познакомилась с преподавателем консерватории, тот согласился учить ее. Александр Радкевич [Иванов-Радкевич — *В.П.*], он любил повторять, что по жилам у него течет смесь польской крови с татарской. Сам из Красноярска, там даже музей [колледж искусств — *В.П.*] есть имени его отца — из польских сибиряков, что попали туда в царское время. После месяца занятий мама хотела заплатить за уроки, но денег он не принял. Мама поняла по-своему — как недостаток таланта, слуха, и что дальнейшие занятия не окупят расходов. Почувствовала унижение, сбежала как сумасшедшая и больше не возвращалась. А правда была в том, что репетитор, Александр Радкевич, ее будущий муж, влюбился... Узнала о том много позже.

Должны были пройти двадцать лет, случиться многие грустные, в основном трагичные истории. Женился, жена умерла, сын в пятнадцать лет погиб во время теплоходной прогулки по Москве-реке. Прыгал, бегал, в один момент схватился за свисавший над водой провод высокого напряжения. Отчим никогда об этом не вспоминал, думаю, не смог с собой справиться. После всего, когда немного отошел, решил найти маму — послушался, как говорят, голоса сердца — и так оказался во Львове. Отец к тому времени уже умер в Ужгороде. В шестьдесят первом они поженились, а он еще целый год обучал в московской консерватории пианистов и дирижеров. В шестьдесят втором умерла бабушка, и *Цепуна*, как я его называла — уж очень беспомощным был, как цыпленок, — поселился у нас, во Львове. Он-то и заметил способности у моего Генека, был его первым учителем.

— Абсолютный слух, нельзя загубить такой дар, — повторял, — нашел-таки наконец *своего* ученика!

— Мне тоже перепало от милости богов, пою во львовском хоре «Лютня». Но это будет долгий рассказ, не сейчас. На хор приходят люди с разными судьбами, кому больше везло, кому меньше. Одна из женщин в молодости работала «кормилицей вшей»...

Р е т р о с п е к ц и я. В декабре 2006 года в Варшаве, на выставке приобретенных Национальной библиотекой документов и рукописей, мне удалось заметить среди экспонатов «аусвайс» Збигнева

Херберта, подтверждавший *причастность* к производству вакцины в институте Вайгля. В рабочем цикле использовались вши, которых в процессе разведения питали кровью. Клетки-ловушки 4x7 см, по 400–800 насекомых в каждой, с сеткой-мембраной с одной стороны и закупоренные воском с другой, крепились на бедро (женщинам, чтобы легче скрыть укусы) или на икру (мужчинам, чтобы не так болело). Операция кормления длилась 30–45 минут. За это время вошь всасывала количество крови, равное по весу ее телу. Брюшко начинало блестеть. Один донор выкармливал сразу 7–11 клеток. Кормильцы вшей, особенно тех, что уже были в стадии заражения, являлись «элитой», получали добавочные пайки, спецпропуска, относительную свободу передвижения по городу. Закрытый салон: профессора, музыканты, актеры, бойцы АК. Профессор сделал исключение для школьных товарищей сына, таким образом в этом кругу оказался Херберт. Список *занятых* насчитывал более тысячи человек, спасенных Вайглем как от большевиков, так и от немцев — от лагерей или от расстрела.

— Каждый верит. Во что-то. Хочет остаться в чьей-то памяти навсегда. Верит в духов. Когда мне было восемь лет, мне показывался ангел — еще там, на Городецкой.

— Когда придет твой час, — сказал перед смертью дедушка моей маме, — я приду за тобой. И пришел. Перед рассветом, поскольку духи приходят до четырех утра, мама услышала шаги.

— Неля, зажги свет, — крикнула, но даже когда я повернула выключатель, слышны были в комнате звуки, как если бы кто шел от окна к двери — и снова от окна к двери... С Цепуней было иначе, ему цыганка в поезде нагадала, что умрет в восемьдесят четыре года. На свой день рожденья смеялся, говорил — живу, мол, — всё выдумки. Не прошло и двух недель... Случай? Умер за пять минут: я купила у гуцулов меду, выложила на блюдце — попробовать. Он и не заметил, что в ложечку села оса. Повышенная чувствительность к укусам — а он не знал. Закономерность? Как и то, что я родилась в Москве за три дня до начала войны, что в сорок восьмом пошла к причастию в костел Марии Магдалины, за который мы сейчас тут боремся, что училась по специальности «радио» — или что Генек, будучи на учебе в Варшаве, написал по просьбе ксендза Твардовского музыку на его стихи?

— Меня аж холодный пот прошиб, когда увидел свое фото на могиле! — говорил, вернувшись во Львов. — Милянчук, кладбище, склеп Четвертинских...

Может, счастья я повидала в жизни поболее других, не со всеми жизнь обошлась столь ласково.

Четвертина значит одна четвертая. Можно ли сделать отсюда вывод — кто я? И что за кровь течет в моих жилах?

— И вдруг, словно факир, словно цирковой фокусник, который вытаскивает кролика из шляпы, мой собеседник — Адам Михник — неведомо откуда наколдовал президента Квасьеvевского. Мы говорили по-польски.

— И что, — спросил он, — президент Латвии уже избран?

— Простите, — ответил я, — но придется еще немного подождать.

— *В Латвии до сих пор нет президента*, — прочел я в отеле в «Вечернем экспрессе».

КНУТ СКУЕНИЕК родился 5 сентября 1936 года в Латвии, в семье Марии и Эмиля. Окончил Московский литературный институт им. А. М. Горького, за политическую деятельность был осужден на семь лет колонии строгого режима (1962–1969). Один из наиболее известных из ныне живущих латышских поэтов, переводчик со славянских и скандинавских языков, член Союза писателей Латвии и многолетний председатель ПЕН-клуба.

ОТКРЫТКА ИЗ САЛАСПИЛСА. ИМПРЕССИЯ

Так уж получается, что все здесь просто.

«Простая» водка на хрене, простой стол, возле стола — красная массивная печь центрального отопления. На столе ржаной хлеб, ломти копченого лосося, в чашках самый мятный из всех мятных чаев (так утверждает его жена — ботаник по образованию).

— Лакомство это, запеченный язык, есть блюдо весьма поэтическое, — смеется Кнут, указывая на тарелку с кусочками мяса.

Его польский правилен, хотя и сыроват, краткие предложения из несложных, общеупотребительных слов. Отвечает строгости интерьера, а он тут в духе Корбюзье, даже венки из засушенных цветов и трав на стене утратили свойственные им черты декора.

Повсюду книги, полки забиты книгами, на лестнице книги, на полу, за спиной, на скамейке... Я слушаю стихи, улавливаю их музыку, на латышском звучат сухогато, шершава.

— А сейчас будет по-польски — предупреждает, облокотившись о стул.

Мир, согласно Скуениеку, складывается из прямых дорог и простых вещей.

Кнут о самом себе

— По крайней мере, таким образом не я ошибусь в показаниях, — обозначает он шутку, открывая книгу о самом себе, — я родился 5 сентября 1936 года в Риге, в семье Марии и Эмиля Скуениеков. В тридцать седьмом мать [актриса — *В.П.*] умирает, меня и моего брата Леона отдают на воспитание родителям отца, Юрию с Анной, — начало партии в покер, — под Бауской на реке Мемеле [Nemunėlis], на самой границе с Литвой. В сорок втором я иду в начальную школу, в сорок четвертом фронт отделяет нас от Риги, отец [писатель, переводчик — *В.П.*] использует ситуацию — эмигрирует, спасая тем самым свою жизнь. Мое среднее образование началось в пятидесятом году в Яунелгаве, где имела место первая публикация в детской газете. Через год я переезжаю в Ригу, продолжаю учебу в средней школе № 2. Пишу стихи, появляется интерес к политике. В пятьдесят четвертом я поступаю в университет, на историко-филологический факультет. Публикуюсь все больше, все чаще — улыбается своим мыслям. В пятьдесят шестом бросаю университет и еду учиться в Москву, в Литературный институт им. Горького. В шестьдесят первом заканчиваю обучение и... — повисает пауза, он вытягивает руку по направлению к Инте, хлопчущей вокруг стола, — женюсь и переезжаю в Саласпилс

(позже я проверю в словаре — означает замок на острове, хотя прежде в аналогичной лексической конструкции место называлось Кирхольм [Kirchholm]).

— Год спустя, в шестьдесят втором, меня арестовали за политические преступления, осудили, приговорили к семи годам колонии строгого режима.

Фраза за фразой, слова — стук-постук, сухими палочками одно о другое.

...Британская энциклопедия

«...Скуениек отправился в мордовские лагеря практически сразу после окончания престижного Литинститута. В Латвию он вернулся через семь лет — в 1969 году. А в следующем году уже вышел первый сборник поэтических переводов — избранная лирика Леси Украинки «Сестра грома». Там, в Мордовии, в те годы не было недостатка в квалифицированных учителях украинского языка. Книга стихов мгновенно разошлась среди полутора миллионов латышей тиражом в восемь тысяч экземпляров — и зазвучала, хотя речь в ней шла о жизни на рубеже двух веков и о другом народе, лишенном государственности. Позже были другие книги переводов, с других языков...»

...У Кнута много книг, и каждая — будто особая исповедь-покаяние, хотя каяться вроде бы положено не ему, но тем, кто его обвинял. Он был реабилитирован еще в советские времена,

за несколько лет до восстановления независимости Латвийской Республики, когда уже никто не сомневался в том, что — вот-вот. Его реакция была столь же ироничной, как и большинство его стихотворений: «Слава Богу, теперь, когда меня снова будут судить за чтение ‘Британники’, я вновь окажусь начинающим преступником, а не рецидивистом...»

Мужчина со спущенными брюками (урок архитектуры)

У Кнута есть свое видение архитектуры. Он отправляет меня в прошлое, в подлинную реальность (ни дать ни взять трипы Индианы Джонса за грань настоящего времени), хочет, чтобы я посетил три рыночных павильона за железнодорожным вокзалом. Были якобы построены во время Первой мировой войны.

— Это второй по величине крытый рынок в мире (после Лос-Анджелеса), который сохраняется в неизменном виде, — убеждает, доказывает.

Иное дело «силосная башня», загадочный небоскреб в центре города, подаренный Риге Сталиным. Когда-то это был официальный «Дом колхозника», а сегодня в нем располагается Академия наук. Коренастый, осанистый, немного напоминает постройки, возводимые из кубиков в детском саду. (Позже проверю: рынок построен в тридцатых; «Дом колхозника» был сразу же отдан ученым, а не колхозникам; в 2003 году зданию вручили знамя культурного наследия Совета Европы... да разве это важно?)

— Такая архитектура похожа на человека, с которого спали штаны, — смеется, цитируя замечание пани Суходольской, члена литературной делегации из Щецина, некогда посетившей Ригу.

Кнут, Инта

— Инта (девичья фамилия Блейере [Bleiere]) родом из Алуksне, из семьи известных в Латвии ботаников, работала по специальности, участвовала в исследовательских экспедициях на Сахалин, — говорит Кнут, пока мы гуляем по саду. — Растения, деревья — ее страсть, — показывает краснолиственную лещину. А уж потом — профессия.

— Жизнь зека связана с ложкой. Потеряешь ложку — умрешь. Вот почему мы носили ее на сердце, в нагрудном кармане, — улыбается смущенно, как юноша. — Женщины — это уж потом. В лагере через пару недель забываешь о проволоке на столбах, это совершенно отдельный мир, который заполняет всего человека целиком.

— Раз вечером: сидим, поем. Часовой с винтовкой наблюдает за нами с вышки. Известно, что если вдруг что — будет стрелять. Зову его — иди, мол, к нам, будет тебе веселее. «Все это я уже видел, причем в жопе, — отвечает, обводя рукой круг, имея в виду лагерь и все остальное».

— Там были наши ребята тоже, — добавляет Инта, — когда приезжаешь в лагерь, они проводят обыск. Один засунул руку мне

под юбку и... «Что это? — говорит он, вытаскивая сигареты: — А, наши, латышские».

Пока я слушаю Кнута и Инту, мне вспоминается латвийский гимн: «Боже, благослови Латвию, / Наше дорогое отечество... <...> Где цветут дочери Латвии, / Где поют сыновья Латвии, / Позволь нам там в счастье танцевать, / В нашей Латвии!»

Что значит быть латышом?

— ...Не так легко, но в то же время, если бы я был глубоко верующим, начинал бы свою утреннюю молитву с благодарности Богу за то, что создал меня представителем маленькой, не великой нации. По разным причинам это затрудняет мое физическое существование, заставляя, однако, гораздо глубже и полнее думать не только о судьбе моей нации — ее болезнях и боли, но и о ее обновлении. И боль эта, если не замыкаться в ней, не делать ее ведущим принципом, — становится бодрящей. Для народа и для нации. Собственная боль делает тебя особенно чувствительным к чужой боли, способным понимать и говорить. С другой нацией, но не с элементами, лишенными национальности. У меня не складывается контакт с ними...

Вот доказательство того, как просто, даже старомодно (не смотря на технический и прочий прогресс), Кнут понимает роль писателя — для него это ответственность перед другим человеком и народом, его обязанность высказываться по важным вопросам.

Мир президентов (урок смирения)

— Телевидение нередко показывает встречи президентов — хорошо, что в итоге они начали серьезно разговаривать. 23 мая я так смеялся, что аж слезы потекли. Они стояли в одной шеренге, и, чем меньше была страна, которую они представляли, тем крупнее фигура. Мы были на шите, самым высоким оказался латвийский. Помню, как в 1999 году была избрана Вайра Вике-Фрейберга, наша леди-президент... Я был на банкете в Варшаве во время Международного конгресса ПЕН-клуба. Водка текла рекой — скажем так, заимствуя идиому из русского языка. И вдруг, словно факир, словно цирковой фокусник, который вытаскивает кролика из шляпы, мой собеседник — Адам Михник — неведомо откуда наколдовал президента Квасьневского. Мы говорили по-польски.

— И что, — спросил он, — президент Латвии уже избран?

— Простите, — ответил я, — но придется еще немного подождать.

— *В Латвии до сих пор нет президента,* — прочел я в «Вечернем экспрессе» в отеле. На следующий день все поздравляли нас. «Вике-Фрейберга», — кричали заголовки газет, ее фото смотрели с первых страниц. Я знал ее, у меня были с ней хорошие отношения, ценил ее как психолога и специалиста по фольклору.

Тук-тук...

— В шестьдесят третьем в лагере я снова начал писать. В шестьдесят

пятом мой отец умирает в Соединенных Штатах, а здесь, в Латвии, мой дед, тот, что меня воспитал, — сухие палочки вновь дают о себе знать, начиная постукивать: тук-стук...

— Я возвращаюсь из лагеря, и появляются мои первые публикации. В семидесятом безуспешно пытаюсь представить в издательство сборник стихов. В Союз писателей меня, как переводчика, принимают в семьдесят втором. Выходят очередные книги переводов [в Интернете можно прочесть, что Кнут переводит с пятнадцати языков — *В.П.*]. В семьдесят пятом меня удостаивает критики идеологический секретарь компартии Латвии. Лишь в семьдесят восьмом выходит первый авторский сборник, которого я ждал девять лет. В восемьдесят четвертым появляется «Яблонька» — польские народные песни, год спустя выходит польский журнал *Literatura Ludowa*, посвященный фольклору Латвии — со статьей будущего президента Вайры Вике-Фрейберги. К пятидесятилетию, в восемьдесят шестом, вторая книжка: «Заверни в белый платочек»... И первая зарубежная поездка — на симпозиум в Прагу. А в восемьдесят седьмом тот же официальный орган, который предупреждал меня в семьдесят пятом, уже хвалит и дает мне первый приз за перевод литовских народных песен [диплом первой степени Комитета по печати — *В.П.*]. И путешествия в восемьдесят девятом: Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция... во время записи на радио «Свободная Европа» получаю сообщение из Москвы о моей реабилитации — как в черной комедии. Я вступаю

в «ПЕН-клуб в изгнании» и... одновременно мне присуждают медаль выдающегося деятеля культуры Социалистической Латвии. В девяностом, то есть, двадцать лет спустя, в Латвии и Швеции выходит моя лагерная поэзия «Семя в снегу»...

Фотография с Шимборской

— Орден Изабеллы Католической [Orden de Isabel la Católica] дает мне приво на завоевание заморских земель и покорение коренного населения, обычно это вызывает смех у моих гостей, — тут Кнут строит забавную мину. — Командорами ордена были Васко да Гама и Христофор Колумб...

— Наград этих, поздравительных писем от коронованных особ, почетных званий и украшений было... — целит рукой куда-то вверх, в антресоли, забытые книгами. — Я — единственный иностранный почетный член Союза писателей Литвы. Пока еще был жив Чеслав Милош, я разделял с ним эту честь. В 1997 году я был в Кракове, там мы смогли немного пообщаться, посидеть — я выступал тогда вместе с польскими писателями: Уршулой Козел, Юлией Хартвиг, Криницким, Загаевским, Яном Каплинским [эстонец из Эстонии — *В.П.*], — он вытаскивает польскую газету со статьей... показывает фото с Виславой Шимборской.

«Газета Выборча» в тот год писала, цитируя его слова: «Организация встречи поэтов в Кракове — очень хорошая идея. Для меня это возможность возобновить контакты с польскими и

зарубежными поэтами, которые в последние годы слегка ослабли» (*Gazeta Wyborcza*, 26 сентября 1997).

Москачка

Чтобы добраться до его дома, нужно проделать определенный путь сквозь временные сдвиги, перемены образа мышления, через стереотипы, предрассудки, фантазии. Начнём с Риги: Старый город, мошеные улочки, горбатые каменицы, чайки, исполняющие над головами круг за кругом свой ритуальный танец... Башня с часами на железнодорожном вокзале — статуей языческого бога — ориентирована на четыре стороны света.

Отсюда идут автобусы на Саласпилс.

На автобусной остановке царит русский язык — молодые люди в темных одеждах шумно показывают, что они — другие. Для их родителей время остановилось, оно имеет лишь одно, прошедшее измерение. Эти новые районы, окружившие Ригу, были построены для них, пылких комсомольцев, коммунистов, которые пришли сюда, чтобы обратить мир в новую веру. Жизнь не оправдала их ожиданий, но им удалось привить свои идеалы детям.

Мы объезжаем грейдеры и асфальтоукладчики, параллельно строится вторая полоса движения, скоро здесь появится скоростная трасса. Где-то в стороне остается концентрационный лагерь, где немцы мучили и убивали латышей, русских, евреев, эстонцев... латыши тоже мучили и убивали: сначала евреев — за то, что

русские убивали и вывозили в Сибирь латышей — оттого, что в свое время латыши сумели убить достаточное количество русских, — а потом русских и белорусов, потому что немцы...

Автобус сворачивает с кольцевой дороги, там на остановке, в окружении частных коттеджей, меня ожидает Кнут.

За здоровье прекрасных дам

Я переступил порог дома Скуениеков в ноябре 2007 года. Подобные встречи запоминаются надолго. Кнут — воплощение сердечности и открытости, он излучает уникальную энергию.

Дом показался незаконченным, как будто время остановилось в 1962 году, когда его приговорили к семи годам лагерным работ. Тотчас началась экскурсия по квартире, я слушал истории, связанные с различными предметами. Больше всего внимания в его рассказах уделялось библиотеке, он долгие годы собирал книги из области европейского фольклора. Это самая большая коллекция такого рода в Латвии. Нас все время сопровождала «полноправная обительница дома» (так говорит Скуениек) — такса Зара.

Мне даже не пришлось задавать вопросы...

Скуениек рассказывал о своем детстве, о лагере, о возвращении в Латвию. Делал это с отменным чувством юмора, иронично описывая свои трагические переживания. Постоянно подчеркивал, что его личный опыт стал уделом многих его соотечественников. Я не чувствовал и тени похвальбы в его голосе. Хотя знал,

что не так-то всё и просто. «За здоровье прекрасных дам пьет кавалер», — помню момент, когда он произнес тост на чистом польском языке со слегка заметным акцентом», — так переводчица Юстина Спыхальская, работавшая над польским изданием его стихов, вспоминает свое первое посещение Кнута.

Мой визит пришелся на «Мужибас светдиену», латышский день поминовения мертвых, совпадающий с последним воскресеньем перед Адвентом. Кнут с Интой предложили мне совместную поездку на крупнейшее рижское кладбище — *Братское* («Бралю капи»), к могилам латвийских поэтов и писателей. Кнут шепотом рассказал мне об их судьбах, вышивал истории по канве их жизней. Сгущались сумерки, во тьме вспыхнули разом тысячи свечей, которые не могли осветить ни надгробий, ни дороги...

Открытка

«Режимы приходят и падают в забвение, а поэзия вечно жива», — такое заявление украинский издатель поместил на обложке книги Скуениека.

Я бы хотел верить, но не могу, оно вызывает у меня глубокий внутренний протест — размышляю, засовывая открытку с приветами из Саласпилса в почтовый ящик на железнодорожном вокзале... Ничем не оправданный избыток веры в человека, излишне разумное согласие с несовершенствами мира.

Но что остается?

СОДЕРЖАНИЕ

Книга песка	
Коллаж с бледным месяцем над городом	11
Святынь не оставим... Расчеты с совестью	27
Жизнь поляка достойного	41
Книга предназначения	
...Он оттуда же, откуда все	57
Даугава, река судьбы	75
Книга улик	
Рука, нога, мозги на стене	89
Беларусы, белорусы...	101
Латвийская синяя	117
Книга чисел	
Мы из Воркуты	131
Две дамы не первой молодости	139
Книга особого назначения	
Цвета всадников необъявленного апокалипсиса	157
Книга ветра	
Четвертина значит одна четвертая	171
Открытка из Саласпилса. Импрессия	185

ВОЙЦЕХ ПЕСТКА: *WOJCIECH PESTKA*

Поэт, прозаик, сценарист, переводчик.

Родился 27 ноября 1951 года в Пёнках (Pionki, Радомский повят). Дебютировал в журнале “Камена” в 1972 году. Премия им. Григория Сквороды (2012), премия им. Болеслава Пруса (2013), медаль “За заслуги в культуре Gloria Artis” (2017) и пр. Член Ассоциации польских писателей и Ассоциации польских журналистов. После первых поэтических сборников [“Обычный разговор”, “Город”: 1976] следует долгий перерыв, связанный с политической ситуацией в стране. Повторный дебют – сборник “Десять стихотворений для Гроша” (2005): премия Люблинского отделения Ассоциации польских писателей [на русском языке “Стихи для Грошки”, изд-во Русский Гулливер, 2013]. Прозаик: “Баллада о бритве” (2009), “До свидания в аду” (2009), “Скажите своим” (2013) и др. Сценарист фильма “Поп” по мотивам романа “Скажите своим” [Klecha: режиссер Яцек Гвиздала, премьера в мае 2019 года]... Но прежде всего – поэт.

Русский Гулливер

планирует выпустить в серии

БРАТ GRIMM

книги

Бориса Бартфельда & Кшиштофа Шатравского,
Станислава Винценца, Сергей Михайлова, Зигмунта Хаупта,
Аншлава Эглитиса

Русский Гулливер

планирует выпустить в серии

ГЕОГРАФИЯ ПЕРЕВОДА

книги

Игоря Белова, Тимотеуша Карповича, Даниэля Кельмана,
Иоахима Лоттманна, Моники Ринк, Збигнева Херберта

www.gulliverus.org; www.gvideon.text.express

По поводу покупки книг звонить: +7 (905) 575 41 03

Отпечатано с готового оригинал-макета

в типографии Cherry Pie

112114 Москва, 2-й Кожевнический пер. 12